

# СОВРЕМЕНИК



SOVREMENNİK

No. 28-29

ТОРОНТО

**Copyright by Sovremennik Publishing Association, Inc.  
9 Garnet Ave., Toronto, Ont. Canada.**

# СОВРЕМЕННОК

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И  
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ

ОСНОВАН ПРОФ. Л. И. СТРАХОВСКИМ

и

В. Л. САВИНЫМ

РЕДАКЦИЯ :

Э. И. Боброва, Г. Н. Жекулан, Л. Е. Фабрицус

Благодарю Тебя, Творец, благодарю,  
Что мы не скованы лжемудростию узкой,  
Что с гордостью я всем сказать могу, я — русский.  
Что пламенем одним с Россией я горю.

Аполлон Майков

1975

---

Торонто

Канада



## ПАМЯТИ ВАЛЕРИАНА ЛУКЪЯНОВИЧА САВИНА

Как всегда, пока человек среди нас, мы не находим времени, чтобы о нем задуматься и по-настоящему оценить его душевные качества. Даже любя и глубоко уважая его, мы склонны слишком часто думать о его недостатках, спорить с ним о мелких ошибках и упущениях.

И вдруг он умолкает. Недвижно лежит он с выражением покоя и той торжествующей правоты на лице, и изменить это мы уже не в состоянии никакими доводами.

Только теперь одно за другим встают воспоминания о бесчисленных разговорах по телефону из дому и со службы по делам "Современника" о совместных поздних вечерних часах в конторе над гранками корректур и макетом журнала; о встречах урывками во время службы или в перерыве для переговоров с типографиями и об иногда бурных (хоть и не без внезапных взрывов смеха) обсуждениях материала для журнала.

Помню, как Валериан Лукьянович иногда в спорах шутил цитировал своего предшественника Л. И. Страховского: "Я вам уже уступил дважды, теперь ваша очередь!" Но, несмотря на сильную волю и небольшую долю упрямства (по свидетельству его жены Марты Ивановны), его всегда удавалось убедить, если на карте стояла польза журнала.

"Современник" был его детищем. Каждый новый номер журнала дарил ему глубокое удовлетворение. Но и отнимал у него силы, которых было, увы, не так уж много. Несмотря на самоотверженную помощь жены, взявшей на себя переписку с университетскими библиотеками и много другой кропотливой работы; несмотря на посильную помощь других членов редакции — главное бремя издания журнала лежало на плечах Валериана Лукьяновича.

Годы заключения в лагере на Севере, финский фронт и плен, затем фронт Второй мировой и, наконец, испытания беженских послевоенных лет — душевные и физические раны этих этапов, даже если внешне они казались залеченными, конечно, оставили болезненные шрамы, из которых иные продолжали скрыто кровоточить.

"Современник" помогал забывать о них, занимая все мысли В. Л. Как он радовался приобретению машины Веритайпер для набора! Он даже сам пытался овладеть тайнами этой капризной и довольно сложной машины. Но болезнь уже прогрессировала, и ему пришлось оставить эту работу для других членов редакции.

Несчастье случилось в декабре в самый разгар работы над набором для макета 26-27 номера журнала. Но и прикованный к постели, он смог единственной слабой правой рукой перелистать еще свежие страницы журнала, доставленного ему первому из типографии.

Больше всего Валериан Лукьянович ценил независимость от всякого рода организаций. Сам он принадлежал только к Русской Академичес-

*кой группе в С.Ш.А. Но читателям, благожелательным и благодарным, он с радостью служил. К ним, забыв гордыню, взывал о помощи в трудное для журнала время. Они всегда откликались, и хочется верить, что с их помощью "Современник" и впредь сможет сохранить свое лицо и по мере сил служить русской литературе в Зарубежье.*

*Элла Боброва*

### "Cada hie, la ultima mata".

Прочла на старинных часах я когда-то:  
"Ранит каждый, смертельно – последний".

.....  
Он на поле бранном Судьбы был солдатом,  
отвагой богатым, наградами бедным.  
Два фронта по-разному бешеных войн.  
Два плена – два зверя. Свирепее – свой.  
Разили: охрана, мороз, своры псов;  
разили удары голодных часов.

Они шли ползком, но безжалостно били...  
Он был безоружен, ударам распахнут.

.....  
А раны? Присохли, но не залечились.

Дождался других он часов. И без страха,  
с надеждою принял слово служить.  
О ранах забыл – так хотелось пожить!  
И средь еще пахнущих краскою книг  
час бил, но не больно – крылатый, как миг.

Без старых, ему опостылевших пут,  
на сердце легко: что ни час – Божий дар.  
Вдруг стали...

Проснитесь, о стрелки минут!  
Где он? Где желанного часа удар?..

\* \* \*

Расстилавшаяся перед глазами белизна казалась безбрежной. Белая пелена уходила в даль, ровная и однообразная. Вдали виднелись пригорки, занесенные снегом, угрюмые и чего-то выжидающие.

Сознание возвращалось толчками, неохотно, и мысли цеплялись одна за другую неуклюже и медленно. Взгляд бродил по равнине, стараясь уловить что-нибудь знакомое, и ничего не находя. Больше всего беспокоила тишина: в ней было что-то странное и угрожающее...

—Отчего так тихо?..Отбили мы танки или они все-таки прорвались?..А Семеренко не стрелял, когда на него танки шли...Что ж ты молчал, Сергей!..Ведь ты же видел, что танки на твою батарею идут...

Сознание ускользало, мысли теряли связь. Белая равнина, колыхаясь, исчезала.

\*\*\*

Сознание вернулось, и не хотело уходить. Глаза опять начали разглядывать белизну внимательно и упорно. Она медленно превращалась в простыню.

—Где это я? Это не санбат...Там было бы много кроватей, доктора, раненые...Может быть, в тыл меня эвакуировали?..Ах, как пить хочется...Не немцы же меня подобрала...Немцы, они и своих-то стали уже бросать...

—Но я жив, жив...Воды бы...Помню, кричал: "Прямой наводкой, прямой наводкой!.." Телефонист тут был. Потом швырнуло меня в сторону...

Перед глазами поплыли круги. Из кругов колдовским образом вышла белая фигура и взяла за руку. Прикосновение было сухим и холодным. "Пить...пить...". Сухие губы и язык не слушались.

—Не говорите, вам нельзя, - сказала белая фигура.

"Почему она не говорит по-русски? Как же это я ее понимаю?.. Господи, так это, значит, и не фронт даже!..Что же случилось?..Помню, ехал я куда-то в автомобиле...Да,да...на повороте...И Семеренко был...Откуда он там мог взяться? Что за чепуха...Налетел на меня кто-то. Да, на повороте налетел, а Семеренко был там раньше и не стрелял, когда на него танки шли..."

Вода была холодная и хотелось еще.

—На первый раз хватит. Скоро доктор придет. А теперь лежите спокойно, я сейчас вернусь.—Белая фигура не растворилась опять в зыблящихся кругах, из которых она появилась, но неслышной походкой вышла и притворила за собой дверь.

"Ну да, конечно, я с кем-то на дороге столкнулся. Сейчас я в гос-

питале, я жив... Это Канада..." Воля, заставлявшая думать логично, стала слабеть, мысли путаться.—"Телефонист что-то кричал..." На смену страшной усталости пришел сон, глубокий, без сновидений.

\*\*\*

Солнечный луч преломлялся в стакане с водой, стоявшем на столике рядом с кроватью. Слышен был разговор вполголоса. Лицо доктора улыбнулось профессиональной улыбкой.

—Ну, как вы себя чувствуете, мистер...— доктор поднес к глазам лист бумаги и старательно произнес иностранную фамилию. Повернуть голову направо, чтобы взглянуть на доктора, было больно—в шее и под правым ухом. Боль отразилась гримасой на лице. Профессиональная улыбка стала человеческой:—"Поменьше двигайте головой." При движении подбородок почувствовал марлю перевязки. Виски и лоб тоже были забинтованы.—Ишь, как они меня обмотали... Что со мной случилось?"

—Столкновение на дороге. Вас привезли сюда в воскресенье, а сегодня уже пятница.—Предупреждая вопрос, доктор добавил:—Это муниципальный госпиталь в Оксборо. Вам придется побыть у нас несколько дней. У вас пара хороших ушибов, несколько ссадин на голове, но ничего страшного. Починим вас и будете как новенький. Старайтесь больше есть и спите. Не думайте ни о чем и спите,—повторил доктор, уже отходя от кровати.

Первые дни спалось легко. Нервное потрясение, потеря крови и слабость вызывали сон. Проснувшись, хотелось есть и пить, потом опять тянуло ко сну. Перевязки вызывали боль и были неприятными. Но с каждым днём боль становилась все терпимей. Ежедневно в десять часов утра приходил доктор, задавал вопросы, заставлял ворочать головой, мял пальцами шею, спрашивал где болит и удовлетворенно повторял: "Хорошо, очень хорошо..."

Сон постепенно терял свою власть. Днем совсем не хотелось спать, и со всей восстановившейся остротой мышления мозг старался связать воедино все случившееся.

—Ну как же, отчетливо помню: в субботу вечером, после работы, поехал к Дженкинсам, два часа езды всего. Ночевал у них. С Томом приготовили с вечера все для рыбной ловли. Обе девочки тут были. Дженни говорила, что папа всегда больших рыб ловит, а привозит одних маленьких. Утром ловили рыбу. Одни окуни брали, и то мелкие. Выехал домой после обеда, была ровно половина пятого. На прощанье Том говорил, что встретимся на работе в библиотеке в понедельник. За обедом Том пил пиво, а я не пил, так как вскоре надо было ехать.

—Ехал по 116-ой, потом свернул на 23-ю. 23-я петляет очень, ехал медленно. Вот тут, на обрыве, это и было. Солнце светило в затылок, это я помню. Передо мной сверкнуло что-то, и еще что-то я видел, но не могу вспомнить, что. Значит, он из-за поворота выскочил, это понятно. Но как же мы столкнулись?

Память не могла целиком воспроизвести случившееся, но мозг уже реагировал, негодовал и постепенно негодование превращалось в злобу: "Сволочь проклятая. Пьянчуга несчастный. А если не пьяница, так, наверно, наглотался таблеток, будь он трижды проклят! Небось, сидит сейчас с другими мерзавцами, смеется, рассказывает, как он саданул "старую развалину"...Сволочь нечесаная!..

\*\*\*

Доктор отнесся ко всему этому спокойно,

—Это случается довольно часто. Так называемая частичная амнезия. Это временное явление и никаких последствий оно иметь не будет. Самое важное—вы вышли из катастрофы живым. Шея у вас, конечно, поболит, да и потом будет давать себя чувствовать еще месяцев шесть—семь. Сотрясение мозга было слабым. Организм у вас крепкий, все ваши царапины уже почти зажили. Можете считать, что вам очень повезло. Вот когда вас привезли в госпиталь, вы выглядели неважно: весь в крови, без сознания. Мне полицейский потом говорил, что вас пояс спас. Головой вы ударились, но череп не повредили.—Доктор помолчал и, усмехнувшись, прибавил:—А, говорят, голова—это самое слабое место. Если вы это еще услышите, не верьте—вы теперь лучше знаете. А насчет того, что не можете вспомнить момент столкновения, это несущественно. Гораздо важнее, что вы помните что именно произошло незадолго до катастрофы. Мне сегодня как раз звонили из полиции, спрашивали, в состоянии ли вы вести разговор. Я им разрешил с вами поговорить, но недолго, минут десять, чтобы вас не утомлять. Сержант Уилкс будет здесь в полдень. Это он привез вас в госпиталь. Тогда он очень спешил, спросил только, живы ли вы, и сейчас же уехал.

—Доктор, а как тот?..

—Кто "тот"?

—Ну, тот, с которым я столкнулся...Он здесь, у вас?

—Нет, в нашем госпитале его нет...

Злоба, улегшаяся во время разговора с доктором, зашевелилась опять.—"Отделался пустяками, негодяй! Меня искалечил, чуть не убил, а ему ничего!.."

Принесли завтрак. Есть не хотелось.—"Как они ухитряются делать все на один вкус?.. И мясо, и суп, и чай—все, что ни возьми... Дома я бифштекс бы зажарил, или хоть яичницу с ветчиной, а здесь надо эту гадость есть...И все из—за этого негодяя!..Сидел бы я сейчас в библиотеке, работал бы...Тихо, спокойно, никто не мешает. Да, сколько лет уже? В августе пятнадцать будет, как я начал работать. Нет, не пятнадцать, а шестнадцать. Конечно, шестнадцать—с августа пятьдесят шестого. Даже и не таким старым был тогда: сорок лет не старость. А теперь уже под шестьдесят...Хоть бы до пенсии дотянуть, что ли.. И отчего у нас все такие стариканчики в библиотеке, вроде меня, или старые девы? Позасыхали среди книг, стали на книги похожими, мумифицировались...Изо дня в день одно и то же, одно и то же..."Молодость

пришла и незаметно вон вышла...". Кто это сказал?..Зощенко? Конечно, Зощенко.

Странно, на фронте все смерти боялись. Думали, кончится это все, будем опять жить...Я собирался институт кончить. Словом, "умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела..." А какие теперь у нас дела дома, да и где этот дом?..На 318 Брансвик авеню, квартира 207 ?

Канадцы—люди неплохие, в чужие дела не вмешиваются. Это, конечно, очень хорошо, но иногда и не очень...С Томом можно о рыбалке поговорить, о спорте, о новой партии книг—вот и все. Ведь я же знаю, что у него жена больна, и безнадежно больна, а ведь Том никогда не жалуется. Один раз только, помню, перед Рождеством в прошлом году пришел он ко мне в кабинет насчет новых переплетов поговорить, и ни с того, ни с сего вдруг сказал: "А против лейкемии так ничего и не могут открыть..." И то словно про себя, и под ноги смотрел. И сразу же опять о книгах заговорил, словно ему стыдно стало. Ведь и думают, и чувствуют они, как и мы. И горе у них такое же, как у нас, и радость, а сказать другому не могут. Лучше это или хуже?..Пожалуй, хуже. А, может, у них психика другая? Или они так уж с детства приучены?..

\*\*\*

В полдень пришел сержант в сопровождении доктора.

—Вот, познакомьтесь,—доктор опять профессионально улыбнулся. Это сержант Уилкс, я вам о нем уже говорил сегодня утром. Сержант тоже местный старожил, вроде меня. Старайтесь много не разговаривать. А вы, сержант, не затягивайте ваш допрос. Не больше десяти минут, во всяком случае: Я через десять минут вернусь.

—Не беспокойтесь, доктор,—голос у сержанта был низкий, не то бас, не то баритон, уверенный, под стать глазам, светло—голубым и спокойным.—У меня все ваши личные данные записаны по вашим документам, мы их нашли в машине. Я их вам прочту. Если что неправильно—поправьте. Вот, слушайте...—Все записано правильно?—спросил сержант, закончив чтение.

—Да.

—Теперь по сути дела. Я вам сообщу то, что мы сами смогли установить, а потом задам вам несколько вопросов, чтобы иметь полное описание случая. Вот то, что известно полиции: "В воскресенье, 17—го мая, в 5 часов 45 минут, Джон Л. Лестер сообщил нам по телефону, что вблизи его фермы, на 23—ей дороге произошел несчастный случай: столкнулись две легковые машины. Я и констэбл Грэггс выехали немедленно на место происшествия. В шести милях от Оксборо, на дороге № 23, мы нашли вашу машину, стоящую по правой стороне дороги, по—видимому, отброшенную силой удара и прижатую к скале. Левая сторона автомобиля была повреждена, очевидно, при столкновении. Дверь не открывалась, так как была вдавлена в раму, а ручка двери была сорвана. Повреждения с правой стороны машины мы не смогли устано-

вить, так как своей правой стороной автомобиль был плотно прижат к скале. Вы находились на месте водителя, в полулежачем положении и без сознания. Лицо было в крови. Грэггс и я работали полчаса, пока смогли извлечь вас из машины, после чего вы сразу же были доставлены в этот госпиталь." От себя я должен добавить, что пояс, по всей вероятности, спас вам жизнь. Если бы вы не пристегнулись, выезжая, то последствия столкновения могли бы стать для вас трагическими. Теперь я задам вам несколько вопросов.

—Хорошо, спрашивайте.

—С какой скоростью вы ехали?

—По 116 -й я ехал со скоростью 55-60 миль в час. Когда свернул на 23-ю, поехал опять с той же скоростью. Замедлил я ход там, где дорога начинает делать зигзаги. Перед столкновением я делал миль 30, не больше.

—Какая была видимость, вы помните?

—Помню. Видимость была хорошая. Солнце светило как раз позади меня, и я все прекрасно видел.

—Вы помните, как вы столкнулись с другой машиной?

—Начало помню.

—Хорошо, расскажите, что вы помните.

—Секунд за пять до столкновения дорога начала круто поворачивать вправо и пошла вверх. Я держался правой стороны. Там, где этот зигзаг почти кончается, неожиданно передо мной что-то блеснуло, словно солнечный свет отразился в стекле или зеркале.

—Что было дальше?

—Не помню.

—Далеко этот свет был от вас?

—Точно не скажу, ярдов десять-пятнадцать, может быть.

—Это все, что вы помните?

—Да, все.

—Благодарю. Я думаю, что мы вас больше не будем беспокоить. Поправляйтесь скорей.—Сержант поднялся, спрятал записную книжку в карман и взялся за фуражку.

—Сержант, один момент...

—Да, сэр?

—А как тот, в другой машине?..

—Мы еще не могли его допросить.

—Он все еще без сознания?

—Простите, но я должен идти. Доктор дал мне десять минут на разговор с вами, а мы говорим уже двенадцать. Обстоятельства столкновения совершенно ясны. Вы в случившемся не виноваты и себя ни в чем не упрекайте. Дело пошлем на прекращение.

—Как на прекращение?! Если я не виновен, то, во всяком случае, этот парень...

—Простите, но я должен идти. Вы сами слышали приказание доктора. До свидания.

В дверях показалась фигура доктора.—Сержант, я вам дал десять

минут, а вы все еще здесь?

—Простите, доктор, но я уже уйду.

Казалось, доктор был слегка чем-то недоволен.—Сейчас сиделка принесет вам таблетки, постарайтесь уснуть.

—Доктор, сержант говорит, что тот парень все еще без сознания?

—Не будем сейчас вообще ни о чем говорить. Вы слишком взволнованы и устали. А вот и ваши таблетки. Так, а теперь постарайтесь уснуть.

\*\*\*

Сон, вызванный таблетками, был тяжелым, беспокойным и продолжался до вечера. Голова болела и настроение было подавленное. За ужином есть не хотелось, еда вызывала отвращение. Все усилия не думать о том, что казалось таким возмутительным, ни к чему не вели. —"Вот как, значит!..Пошлем на прекращение!..Мне едва шею не свернул...Хорошо хоть, что и ему досталось. Видно, здорово досталось, если он ло сих пор без сознания...Ну, так ему и надо! Негодяй!..Наверно, из здешних тузов какой-нибудь...Еще и допросить не могли, а уже шлют на прекращение. Обязательно надо будет с Алланом поговорить, как только вернусь! Пусть дерет сколько хочет, а я это так не оставлю!..Нет, джентльмены, ни за что не оставлю!..Да Аллан и не будет драть. Я с него за переводы документов тоже не деру. Пошлем на прекращение, а вы выздоравливайте поскорее и наезжайте на следующего.Рука руку моет!..Из-за какого-то иностранца мы вас беспокоить не будем. Будь это Браун или Смит, конечно, вы сами понимаете, было бы труднее..."

Ну, посмотрим, что Аллан скажет. Раз посылают на прекращение, то, по их мнению, нет и состава преступления. Ну, это мы посмотрим!"

Вечер тянулся медленно и тяжело. К чувству злобы и негодования стало примешиваться чувство обиды и одиночества.—"Вот уже вторую неделю лежу, и хоть бы какая собака догадалась позвонить или открытку прислать. Неужели никто не поинтересовался даже, что со мной случилось. Если не из чистой любви к ближнему своему, то хоть по служебным соображениям. Кому-кому, а Тому следовало бы поинтересоваться, что с его заместителем произошло. А еще столько раз говорил, что мы с ним такие хорошие друзья. Да...друзья, что и говорить..."

Заснуть удалось только под утро, когда уже светало. В сумбурных и тревожных снах всплывало давно пережитое и, казалось, прочно забытое. Стоял у орудия Федосеев, высокий и всегда спокойный уралец, сворачивал "козью ножку" и уверенным баском говорил: "Пусть только сунутся, все равно не пройдут..." На смену Федосееву выплывало жирное и равнодушное лицо переводчика иммиграционной комиссии и такой же жирный и равнодушный голос без конца повторял: "Мы берем только здоровых людей, а вы на правое ухо почти ничего не слышите. Мы берем только здоровых, только здоровых, только здоровых..."

Снилась дорога, спиралью обнимающая высоченную бесконечную гору и поднимающаяся в беспредельность. Из-за каждого поворота

дороги навстречу неслось что—то блестящее, холодное и злобное...

Утренним осмотром доктор остался очень недоволен.

—Кажется, я вчера сделал ошибку. Нельзя было давать Уилксу разрешение говорить с вами. Я не думал, что вы такой впечатлительный. Но ваше лечение проходит успешно. Я думаю, что завтра вы можете начать не только ходить по коридору, но и гулять в нашем саду. Избегайте резких движений и берегите шею. Хотя рентген никаких повреждений шейных позвонков не показывает, но мускулам надо дать отдых. Через неделю вы сможете вернуться домой, но, на всякий случай, посоветуйтесь с психиатром: по моему мнению, у вас нервы переутомлены. Вам надо отдохнуть, переменить обстановку. Я освобожу вас от работы на месяц.

—Ах, да! Звонил сегодня мистер Дженкинс, спрашивал, может ли он приехать навестить вас. Я согласился. Думаю, что его визит вас развлечет. Вы, должно быть, с ним большие друзья. Он о вас очень тепло отзывался, говорил, что у вас в библиотеке все были огорчены вашей неудачей.

Настроение сразу повысилось.—Нет, не забыли меня! А ведь Тому трудно вырваться, когда меня нет. Ну, на полдня мисс Фитцрой может там за него остаться. Славный он, все—таки, этот Том. У самого такое горе в семье, а вот ко мне едет. И доктор говорит, что он хорошо обо мне отзывался. Мне все—таки повезло, что удалось в библиотеке устроиться—ведь другие годами на заводе работают. Шум, грохот, пыль... Никакие нервы не выдержат. А у нас в библиотеке хорошо: тихо, спокойно... Доктор правду говорит, надо куда—то поехать проветриться. Может, в Европу... Нет, лучше в Мексику, и на целый месяц. На пляже поваляться, побездельничать. Обязательно надо будет поехать...

Нет, как не верти, а мне везет. Вот я уже о поездке в Мексику мечтаю, а тот тип, что меня шарахнул, все еще без сознания лежит. Ну, сам виноват—в следующий раз будет осторожней. Надо было Уилкса спросить, кто это такой, он, конечно, знает. Доктора и спрашивать нечего, он на эту тему говорить не станет. А, возможно, он и не знает ничего.

\*\*\*

Тома следовало ожидать часам к семи, а то и к восьми вечера, но он приехал в три.

—Я хотел после работы поехать, но директор разрешил выехать сразу после обеда. Пошутил: раз еду в госпиталь навестить своего ассистента, считается, еду по делам службы. Вот, здесь от всех наших сослуживцев. За печеньем и фруктами мисс Фитцрой в перерыв сбегала а табак я сам купил. Я знаю, что вы "Кэпстон" курите. А это сюрприз: когда наши барышни узнали, что я за табаком иду, они вам трубку купили, вернее, попросили меня купить. Вот вам табак, а вот вам и трубка. А это послание все мы подписали, даже директор. Если вы и теперь моментально на ноги не встанете после наших пожеланий, то вы—безнадежный случай...—рокотал Том.

—Зачем вы такую кучу всего накупили, Том? К чему это, я здесь не голодаю. Да и сиделки меня стали бы насильно кормить, если бы я не ел. А вот за трубку с табаком—спасибо! Курить мне разрешается, даже трубка есть, а табаку не было. С горя курю сигареты. Ну—ка, попробуем новую трубку...Хорошо!..А всего лучше—ваш приезд. Спасибо вам, Том!

—Да я не мог не приехать. Меня насильно в машину посадили бы... Дженни вчера хотела куклу дать, чтобы я вам свез. Помните, вы ей на Рождество подарили? Едва отговорил,—засмеялся он.

Тяжелое чувство одиночества исчезло бесследно. Захотелось немедленно вернуться в привычную обстановку.

—Надоело мне здесь, хочется домой, да и по работе соскучился...

—Не спешите. Без вас трудновато, но справляемся. Нам на лето двух помощников дали, студентов. Мисс Фитцрой сказала, что с отпуском подождет. Все уладится. Мы все вас ждем, но вам просто необходимо отдохнуть сейчас.

—Поблагодарите всех за подарки, особенно за трубку. Теперь у меня сувенир будет, на память о происшествии. Да вот еще шрам на лбу—тоже сувенир...

—Ну, вы счастливчик—шрамом отделались. А ведь сначала мы даже не знали точно, что с вами случилось. После того, как вы от нас уехали, часов в восемь, радио, к нашему изумлению, сообщило, что вы находитесь в госпитале, в тяжелом состоянии. Что—то говорили о сгоревшей машине. Жена крикнула, что этого быть не может. Я сейчас же позвонил в Оксборо, в госпиталь. Мне ответили, что вы до сих пор без сознания. Тогда я спросил насчет ожогов и мне сказали, что это не ваша машина сгорела, а та, с которой вы столкнулись, и автомобилисты полчаса тому назад тоже привезли, но уже мертвого.

—О чем вы рассказываете, Том?!..Тот парень, из другой машины, до сих пор без сознания лежит, мне полицейский вчера говорил...Не может быть, Том!..Не может быть!..Вы ошибаетесь, конечно!..Ни доктор, ни сержант мне не говорили, что он сгорел заживо...

—Да я был уверен, что вы все знаете. И в газетах было...

—А я еще ругался, когда доктор сказал, что его в госпитале нет, завидовал...ему завидовал...

—От судьбы не уйдешь. Хорошо, что хоть вы в живых остались. Да не волнуйтесь так, ведь не вы же его убили! В газете было, что все по его вине случилось. Не воспринимайте это так трагически.

—Жалко человека!..Может, он все сознавал, когда машина загорелась...Страшно подумать!..

\*\*\*

Вошедшая сиделка напомнила, что полчаса давно прошли, и Том стал прощаться. Его лицо выражало смущение.

—Поправляйтесь скорей, старина...Обязательно позвоните, как

только вернетесь домой. Приедем вас навестить всей семьей.

\*\*\*

На душе было тяжело. Самым тяжелым были упреки самому себе за ненависть и злобу, теперь, после этого ошеломляющего известия, вдруг растаявшие без следа.—Его уже и в живых не было, а я все еще его проклинал. Ну, я не знал, конечно, что он погиб, а все—таки, как нехорошо...Может, он не так уж и виноват был, может, не мог с машиной совладать, ведь всякое бывает...Руль мог не послушаться, или тормоз заело, а спуск там крутой...И откуда взялась такая злоба, за чем?...Ох, стыдно...

На следующий день доктор разрешил пойти на прогулку в сад.

—Можете гулять, сколько хотите. Погода сегодня хорошая. Я думаю, дня через два мы вас отпустим. Мистер Дженкинс вчера зашел ко мне перед отъездом. Он очень сожалел, что рассказал вам про катастрофу. Я его успокоил, сказал, что это даже лучше, что он вам все рассказал. О случившемся вы все равно узнали бы, раньше или позже. Вот ваша реакция мне не нравится. Мистер Дженкинс говорил, что это вас потрясло. Имейте в виду, что вы ни в чем не виноваты, абсолютно ни в чем. Просто стечение обстоятельств. Что вы можете поставить себе в упрек? Что вы ехали медленно соблюдая все правила движения? Не упрекайте себя ни в чем. Лучше позвоните вашему агенту из страхового общества и потолкуйте с ним об убытках и о ремонте машины. Уилкс ее поставил в ремонтную мастерскую. Это недалеко отсюда. Завтра туда можете прогуляться пешком, сестра вас проводит. А сегодня гуляйте в саду, читайте газеты, а на кровати не валяйтесь. Вы уже достаточно окрепли.

Бродить по госпитальному саду было приятно. Хорошо было сидеть на садовой скамейке в тени дерева, закрыв глаза и прислушиваясь к птичьему гомону, наслаждаться теплом и ароматным воздухом, и чувствовать, как к тебе возвращаются силы и снова хочется жить... Иногда что—то темное всплывало из подсознания и сейчас же опять уходило в глубину. Утомленный пережитым, мозг не желал больше анализировать случившееся. Это было приятно и от чего—то освобождало...

Возвращаясь к обеду (аппетит давно давал о себе знать), пришлось у дверей уступить дорогу знакомому пациенту на костылях из соседней палаты. Его левая нога была ампутирована ниже колена. Сиделка как—то упоминала, что он потерял ногу по оплошности, ремонтируя трактор. Подробностей она не знала.—Бедняга...То ли дело я—иду, куда хочу и как хрчу.—Сразу отчего—то стало стыдно за свою радость—А тот...был бы рад и на костылях..." Но сожаление было каким—то странным: малокровным, пожалуй, искусственным. Да и длилось оно всего несколько секунд: слишком хотелось есть...

Агент страхового общества был старым знакомым. Уже первая машина—старенький "Шевролет"—была застрахована у него лет пятнад-

цать назад. Разбитая была пятой по счету. Разговор по телефону сводился больше к расспросам о катастрофе, о здоровье. "Мы сделаем все, что можем, для такого клиента, как вы." Это тоже было приятно.

На другой день в гараже пришлось убедиться, что возвращаться на разбитой машине невозможно: правая дверь была плотно вдавлена в раму и совершенно не открывалась, левая была поломана и держалась на одной петле. На сиденье виднелась засохшая кровь. Смотреть на все это было неприятно, но в гараже пришлось задержаться на полчаса, пока составляли смету на ремонт для страхового общества.

—Придется взять такси, если они существуют в вашем городе.

—Такси у нас есть,—сказал владелец гаража,—но почему бы вам не позвонить сержанту Уилксу? Он был здесь у меня сегодня и говорил, что завтра едет в город. Он может вас подвезти. Позвоните ему. Вот его телефон.

Уилкс согласился сразу и охотно.

—Доктор отпустит вас завтра после утреннего обхода. Я их порядки знаю. Подъеду за вами часам к одиннадцати. Не благодарите. Не за что.

\*\*\*

—Значит, вы с Уилксом едете? Очень хорошо. Я вам уже говорил, что шея у вас будет некоторое время еще побаливать, но не придавайте этому большого значения. Порезы и ссадины на голове в порядке. Через неделю зайдите к вашему врачу и попросите снять швы. Что касается состояния ваших нервов, то мне кажется, что шок, вызванный рассказом мистера Дженкинса, пошел вам на пользу. Если нервы будут еще пошаливать, зайдите к специалисту. Прощайте.—Доктор пожал руку и пошел в соседнюю палату.

Уилкс уже ожидал меня:

—Можем ехать? Я два дня отпуска взял, хочу сестру повидать. Я к ней каждый год два—три езжу.

—Разве у вас семьи нет?

—Была. Теперь нет. Жена от меня ушла и сына взяла. Да я ее и не обвиняю. Скучно ей здесь было. Оксборо—городок маленький: церковь, лесопильный завод, школа, банк—вот и все. Госпиталь еще есть, это вы сами знаете. Меня никогда дома нет—полицейская служба... Не только днем, иногда и ночью вызывают. Не каждая женщина это может вынести. Моя жена не смогла...

—Мне доктор говорил, что вы уже старожилом здесь считаетесь?

—Да, пожалуй... Семнадцатый год здесь служу. Наверно, так здесь и останусь. У меня три акра земли, купил в прошлом году у старого Джо. Хочу там дом построить. Мне четыре года до пенсии. Выйду в отставку—буду там жить. Как раз на берегу озера, можно рыбу ловить. Сад разведу. А у вас в городе дом?

—Нет, снимаю квартиру.

—Ведь вам тоже скоро уже на пенсию уходить. У Джо еще два участка есть рядом с моим. Купите один, будем соседями. Вам у нас понравится. Люди тут неплохие, я почти всех знаю. Я и Дика знал тоже, который на вас наскочил.

—Знали?

—Да. Ребенком его еще помню. Хороший малый был. Хотел учителем стать. Как раз в прошлом месяце у нас в Оксборо среднюю школу кончил. У его родителей ферма недалеко от того поворота. Да, хотел учителем стать...И погиб так глупо...Он в тот день приехал в Оксборо за частями для трактора, отец его послал. По дороге заметил, что тормоза плохо действуют. Перед отъездом брал бензин у Гордона и спросил могут ли ему их привести в порядок. А механик, как нарочно, выехал на весь вечер. Гордон ему посоветовал оставить машину до утра у него в гараже, а утром обещал с механиком быстро привести ее в порядок. Дик не согласился, сказал, что отцу части для трактора очень нужны. Гордон помнит, Дик говорил еще, что в воскресенье здесь никакого движения нет, и поедет он осторожно...Да, глупо погиб...

\*\*\*

Машина уже давно оставила Оксборо далеко позади. Навстречу неслись пейзажи, однообразные и красивые своей суровой северной красотой.

Клонило ко сну, и все происшедшее начинало казаться нереальным, никакого отношения не имеющим ни к сегодняшнему дню, ни к этому простору. То, что рассказывал Уилкс, доходило до сознания отрывками, отдельными словами, и не вызывало эмоций. "—Да, да, Дик...Какой это Дик? Ах, да, это тогда, на повороте..."

Дорога мягко неслась навстречу, прямая и бесконечная...

Торонто, 1972.

## ПОЙДЕШЬ НАЛЕВО...

В лице Владимира не было ни кровинки. Он молча смотрел, как двое в штатском обыскивали комнату, выбрасывая из письменного стола тетради и блокноты с его лекциями по математике, ломая рамки фотографий, перелистывая каждую книгу и с треском отрывая их корешки.

Рядом, вцепившись в рукав мужа, безмолвно стояла Нонна. О таких сценах, описанных шопотом, она слышала так часто, что эта — казалась ей повторным просмотром старого фильма.

— Пошли! — сказал скрипучим голосом один, безобразно курносый, Он загородил было дорогу в спальню к спящему ребенку, но немое бешенство в глазах Владимира заставило его отступить и пропустить арестованного и его жену. Но он последовал за ними, не спуская с них глаз.

Владимир наклонился над кроватью, поцеловал в щеку пятилетнего мальчика и, обнимая всё еще немую Нонну, прерывающимся голосом сказал:

— Детка моя, береги себя и Петушка...

— Довольно! — грубо крикнул курносый, и дверь за ними захлопнулась.

Нонна, как бы очнувшись, подбежала к окну, чтобы еще раз увидеть мужа. Вот он скрылся в черной коробке на колесах...

Только теперь прорвались слезы. Рыдая, она бросилась на диван, зарыв лицо в подушку и повторяя: — Как они могли, как они смели?..

Через всю свою жизнь, начиная с детского сада и сквозь школьные годы, она пронесла веру в то, что Россия, в которой она жила, — самая справедливая страна на свете.

Годы в институте и увлечение историей породили сравнения, сомнения и вопросы, на которые опасно было искать ответы. Если царская цензура была действительно "драконовской", то как сумели Герцен, Гоголь, Достоевский и Чернышевский не только выжить, но и быть обличителями несправедливости в произведениях, изданных в России? Как мог Ленин, брат террориста и непримиримый враг царского режима даже в ссылке писать взрывчатые статьи и книги?..

Только Владимиру она решалась говорить о своих крамольных мыслях. Вначале он пытался объяснить суровые меры необходимостью переходного времени; однако его вера была поколеблена в 1937 году, когда множество соседей и знакомых исчезли бесследно и бессудно. Неужели они все были врагами?

Все эти трудные годы Нонна пыталась отгонять чувство страха, рассуждая: если это случится с нами — мы еще успеем нагореваться.

И всё же где-то в глубине сознания страх жил своей жизнью и вырвался теперь в судорожных рыданиях. Потом, обессиленная и опустошенная, она неподвижно лежала на диване спиной к обезображенной обычном комнате.

Это была комбинация столовой, спальни и кабинета. Высокая этажерка и письменный стол занимали один угол комнаты; в другом — стол-буфет и стол, накрытый вышитой скатертью. На противоположной стене над диваном-кроватью висел дагестанский ковер.

Другая комната была так мала, что там могли поместиться только кровать Пети, его игрушки и гардероб с зеркалом.

Нонна и Владимир, оба способные педагоги, могли считать, что им повезло: еще бы! — у них была своя квартира с крошечной кухней, которую — о радость! — не надо было делить с соседями.

На стене в увеличенной фотографии — Нонна, смеющаяся, с откинутой назад русокудрой головой, без следа позирования перед фотографом. Лицо Владимира на фото рядом выглядело почти аскетическим, без улыбки, даже в глазах. Это было лицо ученого.

Услышав сонное "папа!" из детской, Нонна вскочила... Но ребенок спал. Его слабый зов возвратил ее к действительности. Молодая женщина смотрела на белокурую головку, на лицо, так похожее на лицо Владимира, и рой вопросов, стуча в виски, требовал ответов.

Что будет дальше?

В том, что она потеряет место в школе, она не сомневалась. Какую же работу она сможет найти? Сбережений у нее нет, кто поможет ей?

Родители Нонны умерли в голодный 1921 год. Помнила их смутно; это были ощущения от колко-щекотавших ей лицо усов отца и мягких, заплетенных в длинные косы светлых волос матери.

Воспитали ее дядя Коля и тетя Лена. Но дядя-лингвист был переведен в Киев, и Нонна теперь потеряла с ними связь. В занятой немцами Полтаве живет и мать Владимира,

В эту минуту Нонна не жалела, что не может связаться с ней: чем позже она узнает об аресте единственного сына, тем лучше. Потеряв мужа в 1933 году, мать, не шадя сил, помогала Владимиру окончить математический факультет.

Так Нонна теперь оказалась одна по эту сторону фронта.

Стоя на пороге своей комнаты, такой уютной еще только два часа назад, она потерянно смотрела вокруг. Что они сделали!..

Пустой книжный шкаф, открытые дверцы которого напоминали беспомощно раскинутые руки, с тоской смотрел полками на разбросанные на полу книги, грубо разорванные, растоптанные тяжелыми сапогами.

Вот они лежат, равные в своем унижении: П у г а ч е в Пушкина, Н а т а н М у д р ы й Лессинга, Тургенев, Толстой... Нонна подняла одну наугад: Эмиль Золя Я о б в и н я ю! — эта книга ее на раз заставляла задуматься...

Утром, прежде чем будить Петю, она быстро собрала в узелок

передачу: не могла себе простить, что ночью в час обыска и ареста не поборолла отчаяния и не приготовила Владимиру белья, рафинаду и сухарей. Она чувствовала себя настолько виноватой, что все ее мысли теперь кружились вокруг одного желания: только бы приняли передачу в тюрьме!

— Где папа?, — спросил удивленный Петя, привыкший к тому, что по утрам отец одевал его и отводил в детсад.

Нонна обещала рассказать подробнее о неожиданной командировке вечером, теперь же надо было спешить, иначе они оба опоздают: он в садик, а она в школу.

Мальчик почувствовал перемену в матери: она не напевала, как всегда, одеваясь по утрам, и глаза у нее сегодня как будто меньше и, кажется, красные...

Выйдя на улицу, Нонна привычно оглянулась: второе окно третьего этажа, где часто стоял Владимир, провожая ее взглядом, сегодня казалось слепым, а весь трехэтажный дом с отвалившейся во многих местах штукатуркой, выглядел больным и потерянным.

В это утро лета 1941 года Нонне весь город казался беженцем, у которого от надежды до отчаяния — один шаг. Толпы угрюмых людей останавливались у репродукторов на улицах, слушая сообщения советского информбюро. Замедлила шаги и она. "Части Красной Армии... укрепились на новых позициях..." Люди хмуро расходились, не глядя друг на друга, чтобы не выдать своих чувств.

Из детсада Нонна поспешила в школу и сразу направилась в кабинет директора. Увидев, что Степан Степанович озабочен и избегает ее взгляда, она с облегчением вздохнула: видно, ему уже сообщили и не надо объяснять... Она молча ждала.

— Нонна Сергеевна, я знаю... — начал он. Теперь он смотрел на нее, и она увидела мучительное сострадание в его глазах. — Лучшего преподавателя немецкого языка я не найду, но... вы ведь понимаете...

Она, конечно, понимала: он не имеет права оставить ее в школе.

Всё остальное — когда и где получить окончательную зарплату — она слышала сквозь обрывки своих собственных мыслей: хорошо бы уйти до перемены, чтобы никого не встретить...

Шел урок, и коридоры, где ее всегда встречали ученики, засыпая ее вопросами — теперь гулким эхом повторяли ее шаги.

Проходя мимо учительской, она остановилась, но только на секунду: нет, нет, она не войдет, так будет лучше для них!

Впервые в жизни без работы, Нонна совсем другими глазами видела свой город. Идя по Железнодорожной, проходила мимо длинных очередей у кассы станции: мимо составов товарных вагонов с оборудованием, готовым для эвакуации; встретила большой грузовик с мебелью и даже пианино. Подумала: наверно, в тыл едет какой-нибудь ответственный работник...

Потом из окна трамвая она наблюдала жизнь города с новым чувством отрешенности: казалось, теперь она не вправе делить с другими

все заботы и желания военных дней. — она стала частью молчаливой армии "вдов врагов народа", без права искать защиту и даже знать состав обвинения.

Тюрьма с высокой бурой кирпичной стеной и тяжелыми воротами всегда внушала ей чувство страха, даже издали. Битое разноцветное стекло, которым была покрыта стена наверху, переливалось на солнце, но вызывало в воображении картину побега узника и вид его окровавленных рук и коленей.

Толпа у тюрьмы была сравнительно небольшой: большинство "старых" заключенных, по слухам, было эвакуировано. Ее номер был 65.

—Когда?.. — спросила старушка рядом.

—Вчера... мужа, — ответила Нонна, поняв, что не любопытство породило вопрос, и что она здесь уже "своя".

Старушка была одна из "старожилов": в 1937 она носила передачи мужу. Потом ей сказали: "Выбыл". Ничего больше о нем не слыхала. Теперь взяли сына. "Так он же хромым, чего им нужно от бедолажного инвалида? — причитала Трофимовна, и слезы катились по сморщенным щекам рано от горя состарившейся женщины.

Слушая ее, Нонна почти забыла о своем собственном горе.

Но вот она, наконец, у окошка. Уже мало верила в то, что передачу примут. Но, к ее радости, узелок не вернули — есть еще надежда!

Отошла и ждала вызова, уже не слыша разговора вокруг,..

—Нонна Бойко! — Записка... почерк Владимира!

*Всё получил. Спасибо, детка. Мужайся, думай о себе, береги Петушка. Целую. Всегда, всегда твой В.*

В трамвае по дороге в детсад она перечитывала эти скупые строки и чувствовала себя почти счастливой: он здесь, под тем же небом, пусть только клочек синевы ему виден сквозь решетку...

—Папа вернулся? — был первый петин вопрос.

—Еще нет, мой маленький...

Нонна крепко прижала его к себе, обещая рассказать перед сном новую сказку, которую даже папа не знал...

Едва они вошли в квартиру, как к ним постучала Любовь Ивановна, уютная пожилая вдова, прося Нонну выйти на минутку.

—Нонна Сергеевна, о вас спрашивал человек в военной форме и оставил повестку.

Увидев, как побледнела Нонна, соседка обняла ее:

—Не пугайтесь, дорогая, если о н и оставляют повестку с соседями — это не такое уж страшное дело. Вы можете оставить Петеньку со мной... ты же любишь бывать у меня, — обратилась она к малышу, который как раз открыл дверь. — Дайте мне знать потом... — добавила она и быстро скрылась за своей дверью.

Переодеваясь в домашний халат, Нонна старалась остановить мысли, которые галопом проносились в голове... Следователь Мулин... Что ему нужно от нее в 9.30 вечера? Вдруг — очная ставка с Владимиром? Узнает ли она в чем его обвиняют? А может быть, арестуют и ее?!

Что будет с Петей?

После ужина она сказала непривычно притихшему ребенку:

—Петушок, ты побудешь с Любованной (так он ее называл), я забегу тебя, как только вернусь с собрания в школе.

Потом, уходя от соседки, она осыпала его лицо и голову щеками и сбежала вниз по ступенькам, не в силах выдержать немного вопроса в его глазах, боясь разрыдаться от мертвящей мысли: удастся ли вернуться к нему ночью?..

Снова в трамвае, она неожиданно для себя начала молиться, повторяя слова, слышанные в детстве и добавляя новые, рожденные теперь страхом и отчаянием.

—Садовая! — услышала она голос кондуктора.

Здание ничем, кроме решеток в окнах, не выделялось, но оно поразило ее своим угрожающим видом; хотя внутри выглядело менее мрачным, подумала она, подавая повестку в окно для получения пропуска.

Шла по бордовому ковру коридора, не слыша своих шагов. На стук в дверь комнаты №110 услышала короткое "Да!" и вошла к следователю Мулину.

Не отвечая на ее "Здравствуйте", он продолжал писать. Комната была небольшая, и Нонна стояла с повесткой в руке перед письменным столом, глядя на его мясистое лицо, рыжеватые волосы и толстые пальцы.

Но вот он быстро взглянул на нее, жестом показал на стул и продолжал писать, не обращая на нее внимания. Наконец, отложил написанное, достал из ящика папку, в которой перелистывал страницу за страницей.

Нонна гадала: неужели это "дело" Владимира?.. Вот Мулин хмурится, качает головой и, медленно снимая роговые очки, пронзительно смотрит на нее зеленоватыми глазами...

—Итак, вы Нонна Бойко, жена разоблаченного немецкого шпиона...

—Это неправда! — Нонна даже привстала.

—Сядьте, приготовьтесь слушать и отвечать на все мои вопросы, понятно? — Он издевательски оглядывал ее, зажигая папиросу. Потом откинулся на спинку стула.

—Прежде всего расскажите, как вы собирались использовать свой "безупречный", как мне сказали, немецкий язык во время оккупации?

Нонна уже овладела собой: холодно, даже несколько высокомерно, звучал ее ответ:

—Вы, очевидно не разделяете м о е й веры в то, что Красная Армия не отдаст наш город противнику?.. Я была и хочу остаться педагогом.

Мулин одобрительно наклонил голову:

—Вижу, что вы за словом в карман не полезете. Мне это нравится. Я даже рад, что вы не эвакуировались на Урал. Может быть, вы здесь будете более полезны. — Он говорил с расстановкой, раскачиваясь на задних ножках стула. Затем сразу придвинулся к столу и, снова открыв

папку, продолжал:

—Я не знаю, почему вы решили изучать в институте немецкий язык, и мне некогда теперь входить в такие детали. Скажите, верно ли, что вы знаете его в совершенстве и говорите на нем без акцента?

Всё еще не подозревая, к чему ведут его вопросы, Нонна ответила:

—Мне не раз говорили это, но я никогда полностью не верила...

—Ваша скромность похвальна, но совершенно неуместна. — Он поправил очки, чтобы прочесть письмо из папки: *Нонна Бойко обладает редким талантом в изучении немецкого языка. У нее богатый запас слов, она знакома с классической и современной немецкой литературой,.. Ее беглость в чтении, а главное — ее произношение так безупречно, что ее можно принять за немку...*

Мулин торжествующе посмотрел на Нонну:

—Это высокая похвала, если принять во внимание, что она исходит от профессора немецкого происхождения. — Он снова откинулся назад, закуривая новую папиросу.

—Итак, знания у вас есть. Остается дать вам возможность их применить.

Теперь в его голосе звенели металлические ноты:

—Вы проберетесь в занятый немцами город К. Если вас по дороге задержат, вы себя выдадите за немку Ильзе Кремер; скажете, что советская власть отняла у вас мужа и всех родных, сослав их в Сибирь. Они поверят вам, можете чернить нас сколько угодно — чем больше, тем лучше. Вас, наверно, возьмут в переводчицы. Смотрите, слушайте, запоминайте всё — понятно? Но помните: у нас везде есть свои люди, которые будут наблюдать за вами и доносить нам о ваших действиях.

Нонна похолодела уже после первой фразы Мулина "вы проберетесь в город К..." Шпионить... Покинуть город... Вспомнила: "Береги Петушка..." Кровь бросилась в голову: она даже руки сложила и с мольбой в голосе начала:

—Нет, нет, поверьте мне, я не смогу играть эту роль... Да и ребенок у меня, что будет с ним?

Лицо Мулина побагровело:

—А как же наши солдаты в армии оставили своих детей и сражаются на фронте? Что касается "игры", то мне известно о вашем успехе на сцене в драмах Шиллера. Что вы на это скажете?

Он многозначительно похлопал по папке — ее "делу".

Что-то в ее лице заставило его добавить менее злым тоном:

—О вашем ребенке не беспокойтесь, мы о нем позаботимся.

Как всегда в минуты большой опасности, мысли с необыкновенной быстротой роились в голове: она уже видела Петю в толпе других детей в сером запущенном здании детдома. Никогда!.. Так вот для чего они ее вызвали! Теперь уже мольбы не было в ее голосе:

—Могу ли я в таком случае узнать, в чем обвиняется мой муж? Возможно ли выполнить такое задание, зная, что он в тюрьме? Какой клевете поверили вы? Ведь он просил, чтобы его послали на фронт, а не

рыть окопы за городом... Он ни в чем не виноват, мне известен каждый его шаг... Здесь голос ее внезапно сорвался.

Следователь Мулин почему-то не прервал ее ни разу. Он медленно открыл вторую папку и, хмурясь, стал перелистывать ее содержимое.

Сколько "материала" им удалось собрать! — с горечью подумала Нонна. Когда он снова посмотрел на нее, она не могла расшифровать его взгляда. Может быть сжалился он над ней? Но голос его звучал холодно, хотя и более спокойно:

—Прест... ошибки вашего мужа серьезного характера. Но я посмотрю, что можно сделать... — И с неприкрытой угрозой добавил: — вам должно быть ясно, что от вас будет зависеть его судьба. Еще одно: о нашем разговоре не должен знать абсолютно ни кто. Понятно?

Не ожидая ответа, он снял трубку телефона:

—Дайте мне Военкомат... Полковника Павленко.

Нонна опустила голову, чтобы не видеть ей уже ненавистного лица Мулина, но не могла не слышать: — ...Бойко, новый доброволец для операции "Переводчик", готова представиться... Немедленно? Хорошо, мы выезжаем. И, обращаясь к Нонне: — Советую вам сдерживать свои слезы. Вы следуете долгу советского гражданина. О муже не спрашивайте. Мы не наказываем невиновных.

Нонна не заметила, как долго они ехали, занятая своими думами. Решила о ребенке больше не напоминать. Ей было ясно, что задание срочное. Надо выиграть время.

Когда полковник Павленко, показавшийся ей прямой противоположностью следователя Мулина, тепло встретил ее возгласом: — Так вот он, этот смелый доброволец! — она даже попыталась улыбнуться.

Но он, увидев ее усталые печальные глаза, не раскрывая папки, переданной ему Мулиным, по-военному решительно сказал:

—Вы должны отдохнуть. В вашем распоряжении всего 15 часов, чтобы подготовиться к отъезду. Справитесь?

Хотя Нонна чувствовала себя совершенно опустошенной, она почти деловито ответила: — Постараюсь.

Он поднялся, чтобы пожать ей руку, и Мулин с притворной улыбкой последовал примеру полковника.

Домой! Она могла ехать домой... Не хотелось думать о завтрашнем дне: главное — она возвращается к Пете. Каким подарком казалась ей вдруг эта летняя ночь. Не ожидала она, что после разговора с Мулиным ей разрешат пойти домой. Почти бегом она спешила к остановке трамвая, словно боясь, что ее остановят.

В почти пустом вагоне она села в самом углу, чтобы быть одной со своими мыслями и распутать клубок противоречивых вопросов...

О том, что чужеземную власть надо ненавидеть — она знала с детства: слышала об этом в школе, читала в книгах, чувствовала это сердцем. Но врага-иноземца ей еще не приходилось встречать, он был ненавистен ей только в теории: в то время как Мулин теперь для нее представлял враждебную (в этом она уже не сомневалась) силу внутри

страны — силу, не знавшую пощады ни к ней, ни к ее семье, ни к ее народу — уничтожавшую всех под видом защиты этого самого загнанного народа.

Самое страшное и непоправимое, что Владимир в руках Мулина. "Посмотрю, что можно сделать..." — сказал следователь. Вдруг поможет?.. Но ведь он проговорился, сказав "преступление серьезного характера". Конечно, он лжет, всё это сфабриковано. Но Боже, как доказать, станут ли они разбираться теперь? Вспомнила толстую папку "дела" Владимира — ее Володи, честного, благородного и самоотверженного... Обвинять его в преступлении может только враг типа Мулина — как она его уже ненавидела! Это он роется в чистой душе ее любимого, перелистывая толстыми пальцами страницы "материала", и он его не пощадит... Я его потеряла, — ее мысль, рожденную отчаянием, повторяли колеса трамвая: потеряла... потеряла... потеряла...

Нонна сухими глазами, не видя, смотрела на свои судорожно сжатые в кулаки руки. Вспомнила: "У тебя, детка, руки маленькие, но сильные... а у Петра твои пальцы."

Петя... Она должна найти способ спрятать его от Мулина. Блеснула мысль о Лене, первой петиной няне, очень любившей ребенка и их самих (это была донская казачка, родители которой в конце двадцатых годов были раскулачены и сосланы в Сибирь. Потеряв их, Лене удалось бежать. Теперь она жила в пригороде В... в маленьком доме, построенном ее покойным мужем).

Нонна была уверена, что Лена не откажется временно спрятать у себя Петю.

Сигнал воздушной тревоги прервал ее мысли. К счастью, она была уже вблизи дома и успела добежать. Едва она закрыла за собой дверь, как послышались первые взрывы.

Любовь Ивановна уже стояла с Петей, завернутым в одеяло...

— Слава Богу, что вы вовремя пришли, — сказала она, передавая ребенка Нонне, которая с трудом дыша после быстрого бега, прижимала к себе Петю и на вопросительный взгляд соседки прошептала:

— Любовь Ивановна, дорогая, как только дадут отбой, я должна с Петей уйти отсюда — не спрашивайте, пожалуйста, куда и почему...

Добрая женщина заплакала, а Нонна, подавив подступающие рыдания, укладывала Петю на диван. Взрывы теперь доносились слабее и обе женщины решили не спускаться в убежище. Нонна проголодалась и с благодарностью съела предложенные ей чай и пирожки.

Дали отбой, и она поспешила в свою квартиру, чтобы собрать самое необходимое для ребенка и еще один узелок, в надежде передать его в тюрьму для Владимира.

Было пять часов утра, когда они вдвоем оставили дом. Небо на востоке и на севере все еще пылало от пожаров. Петя, впервые на улице в такой ранний час, был очень оживлен: Нонна обещала ему сюрприз, и он засыпал ее вопросами.

К счастью, вторая нужная ей трамвайная линия не была повреж-

дена бомбежкой, и Нонна, прошагавшая уже два километра (иногда неся Петю на руках), предвкушала отдых в трамвае.

Город медленно просыпался после бессонной тревожной ночи. Спешили на заводы рабочие; домохозяйки с авоськами занимали очередь у магазинов. С радио-репродукторов неслись патриотические песни, часто звучавшие насмешкой в эти первые месяцы катастрофических отступлений.

Ожидая трамвая, Нюна всё чаще видела грузовики с мебелью, очевидно, эвакуирующихся партийных работников. Пожилой рабочий рядом с ней довольно громко пробормотал в усы: "... крысы бегут с корабля..." Подошедший трамвай не дал ему закончить. Он сочувственно помог Нонне при посадке, с Петей, поддержав ее узлы. Мальчик-школьник уступил ей место у окна, и Петя развлекал окружающих своими бесконечными "почему?"

Сюрпиз удался на славу:

—Няня! — завизжал он от радости, увидев Лену на пороге домика с подсолнухами и олеандровым деревом в палисаднике.

—Петушок! Какими судьбами!... — она заключила его в объятия, плача от радости.

Когда же Петя выбежал в сад вслед за рыжей дворняжкой Султаном, и Лена узнала об аресте — радостные слезы перешли в придушенные всхлипывания. Нонна сдерживалась, боясь расстроить Петю, с которым ей предстояло расстаться.

—Леночка, — шептала она умоляюще, — попробуй спрятаться с Петей у твоей золовки в деревне, а когда фронт отодвинется, свяжись с дядей Колей... вот его адрес в Киеве. Не спрашивай, куда я ухожу. Ты догадаешься, что у меня нет выбора. Вот ключ Володи от квартиры и деньги... всё, что у меня осталось. Не возражай, пожалуйста. С Петей на руках, ты ведь не сможешь работать, продавай вещи, всё твое...

В комнату ворвался Петя с Султаном:

—Няня, почему у тебя глаза красные?

Нонна спрятала лицо в его русых волосах:

—Няня вспомнила что-то печальное; обещай мне не огорчать ее, пока меня не будет. Я должна уйти назад домой... Может быть, тебе принести несколько игрушек и книг с картинками?

Раскрасневшийся от бега, радующийся новой обстановке малыш только на минутку прижался к матери и, опять выбегая, крикнул на на ходу:

—Принеси мне красный грузовик!

Нонна повернулась к Лене:

—Ты моя единственная надежда. Помни, ты должна остаться по эту сторону реки... Прости, родная, ты перенесла так много, а теперь и я обременяю тебя своим горем. Но — кто знает?— может быть, когда-нибудь я смогу помочь тебе...

Лена, овладев собой, перекрестила Нонну и обняла ее со словами:

—Храни тебя Господь, девонька, куда б тебя ни забросила война.

Не горюй, я всё сделаю... Петушка не дам в обиду. — Потом, вспомнив свой собственный побег из Сибири, добавила: — А ежели, моёт быть, придется бежать от фронта, я сховаю записку в темном кутку погреба, в банке от мармелада. Будешь искать нас — спроси Аксинью Мельникову модистку, все ее знают в Тернах.

По дороге к тюрьме Нонна продолжала думать: Что ответит Лена Пете сегодня ночью на вопрос "Где мама?" Что будет с ними, когда начнутся бои за город?

Подходя к тюрьме, она заметила, что очередь небольшая, а истерический плач нескольких женщин вызвал у нее слабость в ногах.

Подошла Трофимовна, причитая:

— Выслали...

— Кого? Куда?? — спросила Нонна, все еще прислушиваясь к высокому голосу где-то рыдающей женщины и отрывкам слов: "вчера... ночью... на коленях... считали... на станцию..."

Как вспышки магния, эти слова осветили картину событий последней ночи:

"На колени!" — рычит охранник, и ноги арестантов сгибаются. "Не смотреть по сторонам!" — и головы послушно опускаются. "Раз... два... три..." — громко считает он, и этап темными улицами гонят к товарной станции на погрузку...

Как бы проснувшись, Нонна оглянулась: она стояла в очереди, которая сегодня подвигалась к окошку быстрее обычного. Одна за другой отходили женщины с узелками, разражаясь безутешным плачем.

Нонна опять молилась про себя: — Господи, помоги... пусть он будет здесь сегодня, хоть один еще день до моего ухода отсюда...

— Бойко Владимир, — повторяют, шурша страницами, за окошком. Она затаила дыхание.

— Нет такого уже... следующий! Слышите? Никаких справок!

Нонна отошла и, шатаясь, поплелась к остановке.

Любовь Ивановна, услышав ее шаги, прибежала и ахнула:

— Господи, да на вас лица нет, что случилось? — Она трясла ее за плечи: — Плачьте, вам станет легче, нельзя так убиваться, у вас ребенок...

Она подвела ее к дивану, и Нонна медленно возвратилась к действительности. Но глаза ее были сухи.

— Вы правы, я не могу себе позволить сойти с ума, я должна выжить,,, — И голосом, набирающим силу: — Плакать? Нет, они больше не увидят моих слез, во всяком случае не Мулин, — закончила она сурово и вскочила:

— Уже поздно, меня отпустят только до четырех... Спасибо, Любовь Ивановна, я справлюсь сама...

Зная, что ей придется идти много километров, она выбрала удобные туфли и надела платье с густо-пестрой расцветкой. Потом зашла к соседке:

— Вот вам ключ от квартиры. Может быть, спасете хоть книги наши

от сожжения на топливо... Спасибо вам за все... — обняла и быстро выбежала...

В трамвае сидела, закрыв глаза, чтобы никого и ничего не видеть. Приехав в Военкомат, она внешне казалась решительной и спокойной. Из 14-ти ожидающих она была единственной женщиной.

Скоро вошел полковник Павленко. В небольшом вступлении он сказал о роли советской разведки в борьбе с фашистскими захватчиками. Он говорил резко — фразами, звучащими как безоговорочный приказ: "... звеньями по три человека познакомьтесь с маршрутами. Заучите на память названия каждой деревни, реки и дороги по пути следования. За город до определенного пункта вас повезут в машине. Приготовьтесь идти пешком много дней. С питанием будете устроиваться сами как беженцы.

Им дали клички. В звено вошли: Тигр, на вид самоуверенный профессор в возрасте около 50-ти, Орленок — 18-тилетний юноша с круглыми испуганными глазами и она сама — Мимоза. Большим усилием воли она "выключила" мысли о Пете и Владимире, чтобы зазубрить все названия. Ей это удалось настолько, что Тигр и Орленок сразу прониклись к ней уважением.

В полночь им дали короткий отдых, и Нонна с облегчением улеглась на диване в одном из кабинетов.

Так много навалилось на ее хрупкие плечи за последние два дня, что мысли о красном грузовике Пети, об этапе и бомбежке скоро перешли в тревожный сон...

Легкий стук в дверь заставил ее вскочить.

— Готовы?..

Рядом с шофером сидел вооруженный солдат. Звено заняло второе сидение. Машину погнали к мосту вблизи электростанции. В том же направлении шли эшелоны военных грузовиков — неужели уже отступают? — подумала Нонна.

Из окна автомобиля она видела, как белые копыта прожекторов с разных сторон, как бы не доверяя друг другу, иногда скрещивались на секунду и снова разбежались.

В машине никто не разговаривал. Она останавливалась только на контрольных пунктах, но часовые быстро ее пропускали. Нонна смотрела из окна на пробегающие куда-то назад окраины города. Когда миновали деревню Веселое, уже светало, и в углублениях поля показались молочные лужи тумана.

Вдруг с противоположного склона горы покотился грузовик, взмывая длинным хвостом пыли. Он мчался с большой скоростью. Порывавшись с ними, шофер затормозил и высоким тенором, к которому звучали панические нотки, крикнул:

— Назад!.. Немецкие танки... там... за горой! — и, завизжав тормозами, дал газ.

— Товарищи... — сопровождавший их военный впервые обратился к звену, почему-то глядя в лицо Нонне. — Здесь мы вас оставляем. Пере-

сидите в кукурузном поле или вот в том туннеле, а когда прекратится стрельба, идите по указанному маршруту. Нам надо спешить назад...

—Что ж теперь? — Орленок смотрел тоже не на Тигра, а в глаза Нонне. Ответ пришел от эскадрильи бомбардировщиков: они так внезапно загудели над ними, что все трое, как по команде, припали к земле. Устрашающий рев второй самолетной волны заставил их вскочить и броситься к туннелю с одной только мыслью: укрыться!

Там уже собралась группа железнодорожных рабочих с семьями. Земля задрожала от глухих взрывов, и мысли Нонны заметались по несчастному ее городу сквозь огонь и дым пожаров: то к домику, где она оставила Петю и Лену (успели они пойти в погреб или нет?), то к товарной станции, откуда отправляли этап ( вдруг задержались?..).

Отсюда казалось, что горит весь город. Мессершмиты налетали резкими порывами ветра, зенитки колотили короткими раскатами прямо здесь, над головой...

Наконец, бой в воздухе утих. Но вот по склону горы потекли тяжелые танки и бронемашины. Скоро немецкая моторизованная пехота с большим напором покатилась к городу Д...

Теперь Нонна знала, что пригород В... где жила Лена, скоро будет занят немцами. Один из рабочих вдруг с насмешкой прервал молчание:

—Безсмыслен немец щось нэ выглядяе... дывыться на видкормлэни морды... ниhto нейде лишака.. — хыба такого побьеш...

Он закончил таким многостаянным ругательством, что Нонна, содрогнувшись, повернулась к Тигру: почему он ничего не сказал в ответ на непатриотическое замечание. Он был бледен, глаза его горели, но не только он, но и все другие в туннеле молчали.

Нонна пыталась разобраться в своих собственных чувствах. Она ненавидела войну, которая принесла ей и ее народу столько новых лишений и страданий; ясно, что она должна ненавидеть и этих так чисто одетых солдат, казавшихся в своей самоуверенности почти беспечными... Что сделало их такими? Нонна слишком хорошо знала историю и не могла поверить, что они хотят "освободить Россию от коммунизма", как объяснял свой поход на Зосток их фюрер.

Она вспомнила приглушенный спор дяди Коли с его другом доктором Зубковым, который уверял, что с врагом внутренним народу труднее бороться, чем с чужеземными захватчиками... Подумала она также о Трофимовне и всех бесчисленных матерях и женах, ожидавших, чтобы открылись двери тюрем ("...говорят, что сразу всех политических —по домам!").

Нонна снова взглянула на Тигра: заметил ли он перемену в настроении окружающих их рабочих, которые как будто сбросили изношенные маски, когда-то надетые страхом...

Тигр видно понял: —Мы скоро двинемся. Выражения его глаз она не могла разгадать. О чем он думал?..

О заданиях своих спутников она не имела понятия, да и не хотела знать подробностей. Была рада, что ее не спрашивают о семье — так

безопаснее.

Теперь они шли по еще свежим следам вражеской армии – каждый неся свое прошлое и свои мысли о случившемся.

Опасаясь патруля, они пока избегали заходить в деревни. В час дня вдали показалось село, и Орленок заявил, что здесь он свернет – так ему приказано.

Скоро Тигр, который был старше Нонны на двадцать с лишним лет, начал волочить ноги. На следующем перекрестке он стал прощаться:

–Я всё смотрю на вас и... хоть убейте, не могу понять, как вы, женщина, могли решиться принять такое... – Он не закончил.

Нонна посмотрела на его одряхлевшее лицо, измученные глаза и быстро смахнула набежавшую слезу:

–У меня там ребенок... Да, наверно, не только у меня. Я должна... Прощайте, желаю вам удачи. –Пожала ему руку и быстро пошла даль-ше, боясь более откровенного разговора.

Наконец она была одна. Сначала почувствовала облегчение: не надо притворяться сильной и преданной. Пустынным полем, по теперь уже сданной немцам земле, шла не Нонна Сергеевна – веселая, всегда нарядная учительница, которая после занятий часто разучивала с хором учеников патриотические песни и ставила спектакли: не Нонна Бойко, старавшаяся сохранить в себе и воспитать в детях веру в лучшее будущее.

Незнакомой ей раньше дорогой шла Нонна-Ильзе Кремер, закаляя себя для самого трудного решения своей жизни – мыслями о всех пострадавших за многие годы. О Владимире: если до войны никто не возвращался о т т у д а, то чего можно ждать от военного времени?.. Снова вкралась безумная надежда, как в туннеле: вдруг немцы перехватили этап и отпустят заключенных по домам? О Лене и ее Одисее: может ли она забыть и не оплакивать своих ни в чем не повинных родных?..

Злой силе, причинившей столько горя всем им, она, Нонна, теперь должна помочь удержаться у власти... Должна ли? Может быть, судьба послала ей первую возможность сказать "нет" после частых, но скрытых попыток усыпить свою совесть?..

Но что скажут и подумают о ней Владимир и дядя Коля?..

Вспомнила, как потрясла Владимира история Лены. Представила опять ошеломленное лицо дяди Коли, после очередного ареста сотрудника по работе... – Нет, они не назовут ее изменницей и поймут, что при полном отсутствии у нее опыта, выполнять задание означает верную смерть. (Она знала: шпионов расстреливают). Петя останется сиротой... Пойти назад – ее найдут и убьют люди Мулина.

Но что ожидает ее у немцев? Станут ли они терять с ней время, стараясь разобраться в мотивах ее признания? Поверят ли, что у нее не было выбора? Гестапо... Но ведь и полковник Павленко был непохож на Мулина. Вдруг помогут?.. Пусть посадят под стражу, только б не разлучили с Петей.

Она теперь безутешно плакала, запутавшись в своих рассуждениях и чувствах, шагая всё быстрее, не замечая ни теплого вечера, ни солнца, ни васильков по краям дороги. Как бы ей хотелось услышать волдино "детка моя" и прижаться к его плечу! Никогда еще во все своей жизни не испытывала она такого чувства потерянности и одиночества.

Показался городок Н... (она хорошо изучила местность для задания). Туфли натерли ноги. Обессиленная, она опустилась на траву, чтобы передохнуть и собраться с мыслями. Впереди была неизвестность, может быть смерть, но с искрой надежды. Позади – был один страх.

Нонна завязала шнурки на туфлях и, уже не останавливаясь, пошла вперед.

.....

*Автор и Нонна с сыном познакомились и сблизились после войны уже на Западе. Из частых разговоров о прошлом родился этот рассказ – не биография, но часть нелегкой жизни героини. По слухам, Владимир был расстрелян на второй день после ареста.*

*Р.Е. И.*

## Ю. МАЛИНОВСКАЯ

Река улыбнулась: – Не плачь, все пройдет...

И звезды вздохнули: – Дитя, все пройдет...

И лес прошептал: – Все пройдет, все пройдет...

А я не хочу, чтобы все прошло!

Обиды – мои!

Враги – мои!

Утраты навек – мои, мои!

Невзгоды – мои, и скука – моя,

И слезы – мои, и ревность – моя.

Я все люблю, я все хочу!

Не хочу только слов: – Все пройдет...

Торонто, 1974 г.

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО

Ночью на Невском проспекте варили асфальт.

Озаряемые темно-багровым пламенем, у котлов возились немногочисленные рабочие.

Редкие прохожие торопливо проходили мимо, задерживая на мгновение дыхание, чтоб не хлебнуть вонючего, черного дыма.

Запоздалые путники, мы направлялись домой.

Впереди нас шел маленький, тщедушный человечек, одетый в поношенное демисезонной пальто. Было видно, что оно едва предохраняло его от колючего ноябрьского ветра с залива.

Человек изредка нагибался, всякий раз подбирая что-то с тротуара.

— Держу пари, — заметил приятель, — что муж сей во-первых не имеет денег, а, во-вторых, и не способен заработать их одним из общепринятых, обычных способов...

— Первое твое предположение, — ответил я в тон, — не требует доказательств. Человеку с деньгами проще купить папиросы, чем собирать окурки. Относительно же его образовательного ценза — я пока не имею сколько-нибудь определенного мнения. Могу только предположить, что он, по-видимому, интеллигентен.

— Вне всякого сомнения. Интеллигентен, по крайней мере, настолько, что можно без ошибки предположить его знакомство с элементарным курсом физики Краевича... Во всяком случае он знает легенду об Архимеде Сиракузском. Вот уже в третий раз он восклицает: — "Эврика!" Впрочем, "эврика" рекомендует его и как человека, которому не чуждо и чувство юмора.

— При желании мы могли бы проверить правильность наших предположений. А вот и подходящий случай...

Не обращая на нас ни малейшего внимания и, конечно, не подозревая о содержании нашего разговора, человек осторожно подошел к одному из котлов и начал закуривать. Мы последовали его примеру. Сразу же к нам присоединились и варщики асфальта. Один из них, видя бесплодные попытки человека в пальто озябшими пальцами свернуть самокрутку, протянул ему папиросы: — угощайтесь, гражданин, моими.

— Спасибо, браток, благодарствую, — отвечал тот простуженным, сильно охрипшим голосом. — Хотите послушать сказку?.. И не дожидаясь ответа, человек в пальто начал говорить. Замерзшее, небритое лицо сразу преобразилось...

— Волки вы, волки и есть! Не люди, а злые, голодные волки! Вам бы в лес или в дикое мерзлое поле... Вам бы запах горячей крови, вам бы клочья сырого мяса!.. — И дальше, все тем же простуженным голосом, часто покашливая, он говорил еще некоторое время, перебирая худыми пальцами засаленное кашнэ.

Один из рабочих, видя в нас чужих, сказал тихо и с подчеркнутым

уважением: — Странные они, но очень умственные...Каждую ночь приходят сюда и рассказывают...Бедные такие...

Сказка кончилась...

Человек, втянув голову в воротник, стоял, задумчиво глядя в огонь. Мы подошли к нему. Мне хотелось сказать ему что-то хорошее, а вышло ходульно: — Простите, если вы не сочтете за дерзость, я бы хотел выразить свое восхищение...Ваша манера...И этот замечательный рассказ...

—Этот замечательный, как вы говорите, рассказ написан почти двадцать лет назад. Не правда ли — это так давно?..Теперь такого уже не напишешь...А с кем я имею честь?

Мы представились.

—Студенты, студенты! Люблю я студентов! Давайте побродим по спящему городу! Побродим, поговорим, покалякаем...

Мы с радостью приняли его предложение. Правда, мой приятель все больше молчал, но молчал и я. Говорил наш новый знакомый.

—Вывел меня в литературу в годы русского лихолетья и революций замечательный наш Куприн. "Вам нужно писать и писать", — повторял он, отдавая в печать мои первые удачные рассказы, — "Этим вы поддержите и вашу семейную традицию". А я, нужно вам сказать, хоть сам теперь в Это мало верю, племянник Леонида Николаевича Андреева.

Мы помолчали.

—Расскажите нам что-нибудь про вашего великого дядю, — попросил я.

—Про моего великого дядю? — с едва уловимым оттенком иронии переспросил он, — ну, что ж, про дядю, так про дядю...Вы наверняка знаете, что человеком он был, во многих отношениях, оригинальным. Одно время, например, ни зимой, ни летом не сбрасывал он свою темно-синюю, отделанную серым каракулем, поддевку. Так в ней и ходил повсюду, а иногда подвешивал через плечо на шелковой ленте балалайку и тербил ее струны, не будучи, однако, в состоянии сыграть что-либо по-настоящему...И однажды вот эта балалайка с поддевкой да еще, пожалуй, его темная борода — сыграли над ним на Волге веселую шутку. Случилось это летом, когда, захотев поразвлечься и отдохнуть, он от самого верховья реки плыл к соленому Каспийскому морю. В наше время не так просто, пожалуй, проводить свой досуг в подобных путешествиях, а тогда — пустяки...Но продолжу. Ехавшая тем же парходом некая молодая дама, уже несколько дней с нескрываемым увлечением поглядывала на него. И надо вам сказать, что Андреев ее тоже заметил и, кажется, сам был не прочь с ней познакомиться. Неизвестно, чем бы закончилась в иной обстановке эта обоюдная симпатия, но здесь, на пароходе, молодая дама не постеснялась сделать первый шаг. Через матроса она передала Леониду Николаевичу надушенную записку с приглашением в тот же день пожаловать в ее каюту...В назначенный час Леонид Николаевич, в надежде на интересную встречу с молодой и красивой женщиной, появился в ее каюте. Представился. Никакого впе-

чатления. Разговорились о том, о сем, и в разговоре дама, между прочим, вдруг спрашивает: "А вы кто, собственно говоря, будете?" — "Я, — с неудовольствием отвечал Андреев, — писатель, беллетрист." — "А-а-а, так вы — писатель...А я думала, что вы из цыганского хора." — И с этими словами выпроводила его за двери.

—А это правда? — с недоверием спросил мой друг.

—Истинная и пренеподдельная. Факт, в литературе до сих пор, кажется, нигде не описывавшийся. При случае можете воспользоваться.

—Да мы-то ведь не из пишущих...

—Ничего. Теперь не пишите, а вот когда повзрослеете, то обязательно начнете...Вспомните тогда меня, старика...Но дядя мой — что? Он птица хоть и знаменитая в свое время, но небольшая, и ничего нет странного в том, что на Волге его не узнала какая-то вздорная дамочка...А вот я сам однажды более крупного зверя не опознал. И было это давным давно, в далеком тысяча девятьсот двенадцатом году...

Навстречу, под ноги нам, бросилось гонимое ветром, маленькое кудрявое облачко промерзшей пыли. По рельсам, рассыпая вокруг себя зелено-синие искры, прогрохотал и скрылся за поворотом заблудившийся ночной трамвай. Шел третий час ночи.

—Расскажите... — попросили мы.

—Пожалуй...Но только это — никому...пусть останется между нами.

Так вот, когда-то, будучи еще совсем молодым, принимал я, как это сейчас говорится, активное участие в революционном движении. Правда, к чести моей будь сказано, был я социалистом—революционером и, верьте-не верьте, был в самой что ни на есть БО — террористической Боевой Организации...За грех такой меня в седьмом году чуть не повесили, но, то ли молодость моя спасла, то ли не слишком строгие судьи, от петли я ушел...на долгие годы в далекий Нарымский край.

В конце лета, в девятьсот двенадцатом году, к нам прислали "пополнение" — группу ссыльных большевиков. Ни я, ни мои товарищи-эсеры ничего общего с ними, конечно, не имели, но все-таки иногда встречались — ведь за тридцать земель от родных мест любой новый человек, кто бы он ни был, — находка.

Многие из нас опустили в ссылке, забыли об идеях борьбы, спились, или же просто плюнули на все и, поженившись на местных бабах, зажили дикарской жизнью. Что же касается меня, то я, правда, жениться не женился, но пил — запоем. Пил, и с заезжими купцами играл в карты.

Однажды ночью пришли ко мне несколько новых "политических" и потребовали от меня помочь одному "партийному товарищу", который собирался бежать. Не скрывая, что им известно о моем крупном выигрыше в карты, они предложили мне "пожертвовать" для обеспечения побега "скромную" сумму в пятьсот рублей. Отдав им все, что у меня было, и от души пожелав успеха их товарищу, я со спокойной совестью улегся спать:

—Ну а дальше?

—А дальше я на протяжении двадцати с лишним лет точно так же,

как и тогда в ссылке, со спокойной совестью ложился спать, пока один мой приятель не рассказал мне недавно, кому я тогда дал деньги для побега. И кому бы вы думали?..

—Ну, вероятно, это был... — неуверенно начал я, но рассказчик остановил меня на полуслове:

—Нет! Подождите, не гадайте, не нужно! Я сам скажу, кто это был! Это был тот, кто чаще всех других убегал из ссылок...Тот, в чьих цепких руках все наши жизни и наша судьба..

После некоторого молчания человек спросил: — Скажите, мальчики, верите ли вы в связь всего происходящего в мире? — И, не дожидаясь ответа, убежденно сказал: — Я верю...Верю, и потому не могу спать по ночам...И не могу ответить себе на вопрос: как бы сложилась наша жизнь, не дай я в ту проклятую ночь денег для побега "партийного товарища"?..

\* \* \*

Расстались мы только перед рассветом.

Откуда-то из серой пропасти неба повалил неуютный, колючий снег. Ветер бросал его в наши лица, запутываясь в паутине проводов или проваливаясь в невидимые за снегом трубы на крышах высоких домов. Нахлобучив береты и подняв воротники, шли мы к себе домой на Петроградскую сторону. Каждый по-своему думал о встрече.

—Ты знаешь, — сказал мой товарищ, когда мы вышли на Марсово поле, — мне стыдно...

—Мне тоже, — ответил я. —Зря мы смеялись над этим человеком... Помнишь, тогда, перед знакомством с ним у костра...

\* \* \*

Пушок на щеке: почти абрикосик.  
Ты зорька, радуга, херувим.  
На песке у моря светлая осень  
И мы не скажем твоим родным.

И разве возможно не соблазниться  
Прелестью этой, смуглым теплом,  
Когда загорелая ключица  
Мне кажется ангельским крылом?

И разве правда, что нужно расстаться?  
Не расставаться нас научи!  
И волоски слегка золотятся,  
Как будто крохотные лучи.

На апельсины похожи колени,  
Только цвет их милый нежней, нежней.  
И кажется осень такой весенней  
От света этих нескольких дней.

Так Ева с Адамом в розовом зное,  
В сиянии райского тепла,  
Кусали яблочко наливное,  
Счастливые, не зная зла.

\* \* \*

Ты был жиз недавно. Тяжело болел.  
Пишет брат: в кругу семьи.  
Утром, около семи.  
(Начали снежинки снова свой балет).

Неразборчив почерк, серое письмо.  
И неясные слова  
(И опавшая листва)  
Мерзнут на дороге: холодно зимой.

Свет над парком бледен, бледно-желтоват.  
И коричневые дубы.  
И, как вестники судьбы,  
Грозно-бронзовые всадники стоят.

Ты был жив, а небо — было голубым,  
И кормили голубей  
Старики, и был слабей  
В желтенькой аллее серо-сизый дым.

А письмо, как птица: вот летит в бассейн,  
В воду черную само.  
С черной кромкой то письмо,  
Скучный вестник в скучной жизни сей.

\* \* \*

Как хорошо, что люди мы, а не  
Шакалы или мыши, или крысы,  
Что говорим стихами о весне  
В Италии: про лунный крап теней,  
Про улочку с Мадонной на стене  
И темные ночные кипарисы.

Как хорошо, что люди мы, а не  
Безглазые термиты и трихины,  
Что радуемся небу — и луне,  
Посеребрившей лавры и маслины.

В луне и листьях римская стена  
И вкусны минестоне и лазанья.  
Такою ночь мы проведем без сна,  
Беседуя о тайнах мироздания.

И чувствуя задумчивую грусть  
От звезд, луны и древней римской арки,  
В честь вечности и Данте, и Петрарки  
Мы Пушкина читаем наизусть.

\* \* \*

## ЗИНАИДА ГИППИУС: О НЕПРИМИРИМОСТИ, О КОММУНО-БОЛЬШЕВИЗМЕ И ЕГО ПРОТИВНИКАХ.

Публикуемая здесь впервые статья "О *непримиримости*, о коммуно-большевизме и его противниках" Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), писательницы, сыгравшей большую роль в эпоху символизма в истории русской литературы, является ценным документом политической деятельности знаменитой поэтессы. ( 1 ) Она также проливает яркий свет на жизнь русской интеллигенции, находящейся в эмиграции в тридцатые годы двадцатого столетия.

Статья эта была написана в так называемый период "Третьей пятилетки", как ее шутливо называла Гиппиус в "Истории интеллигентской эмиграции". ( 2 ) По словам Зинаиды Гиппиус, в этот период наблюдается постепенная гибель почти всех русских журналов за границей, как и всех надежд на освобождение России от большевизма. "Чувства послания и миссии эмиграции сменяются тенденцией арривизма здесь", замечает поэтесса. "*Старшие*: политики-бывшие эс-эры, бывшие кадеты, бывшие эс-деки-обособились: верченье в пустоте старого колеса (политики), но уклон влево. *Не*-политики, кто остался, почти не встречаются, редко и знают друг друга. Молодые (*экс*) начинают объединяться на Монпарнассе уже не по идейному признаку, а по друзьям... *Воскресенья* ( 3 ) продолжают. Текучи. С переборами. Принцип тот же. *Зеленая Лампа* ( 4 ) зажигается редко, горит тускло". ( 5 ) По контрасту, вспоминает Гиппиус, картина в годы "Второй пятилетки" (1925–1930) была совсем другая: "Старшее поколение (эмигранты прежние и новые, пореволюционные), политики, писатели и другие, тесно сплоченные как бы перед лицом общего врага (большевиков) еще держатся вместе, в него быстро втекает следующее". ( 6 ) На "воскресенья" Мережковских приходят сотрудники *Звена* ( 7 ) и многие другие. "Еще не известно", поясняет Гиппиус, что "большевики на все время". *Зеленая Лампа*, ее расцвет, доклады на всевозможные темы (о России, эмиграции, евразийстве, поэзии...) *Воскресенья* продолжают без измены главного принципа. Церковное разделение. (Московское требование "лояльности"). Нерешительность Евлогия. ( 8 ) Вся старшая религиозная (православная) интеллигенция за Москву...Обходное решение Евлогия ( *Не* "лояльность"). ( 9 ) Такова была картина интеллектуальной жизни русской эмиграции, по словам Гиппиус, конца двадцатых и начала тридцатых гг.

Движимая чувством большой ответственности перед Россией и русской нацией, Гиппиус в течении всей своей долгой жизни говорила и писала о явлениях "настоящего значения"—свободе, политике, рели -

гии, культуре. Чтобы жить истинной жизнью и уметь противостоять распространяющемуся влиянию большевизма, утверждала поэтесса, необходимы духовная свобода и глубокое понимание, что этическое, политическое, религиозное и метафизическое образование способствуют духовной жизни человека и прогрессу. Статья "О *непримиримости*, о коммуно-большевизме и его противниках" и является одним звеном в длинной цепи публичных выступлений Гиппиус по этому вопросу.

В оказании сопротивления пагубному воздействию коммунистической идеологии на сознание человека у Зинаиды Гиппиус был многолетний опыт. Большевистский переворот она наблюдала вместе с Д.С. Мережковским и их близким другом и соратником в религиозной и политической деятельности Д.В. Философовым с балкона их петербургской квартиры на Сергиевской улице, напротив Таврического дворца. Своим святым долгом Мережковские и Философов считали постоянную борьбу против большевиков, за "Дело освобождения России от большевиков," как они называли свое задание первой важности после свершившейся Октябрьской революции 1917 г. Находясь до конца 1919 г. в Скт. Петербурге, Мережковские и Философов надеялись на свержение большевистской власти Белой армией и военной интервенцией бывших союзников России. Летом 1919 г., однако, узнав о поражении Колчака в Сибири и Деникина на юге и, таким образом, потеряв свои надежды, они решили искать в Европе новых возможностей для освобождения России извне. В Европе, кроме того, они хотели открыть глаза населению различных стран на сущность происходящего в России и предупредить их, что их также ожидает та же участь, если они не сплотятся временно для общего отпора агрессии большевиков.

Петербург Мережковские, в сопровождении Философова и молодого секретаря Зинаиды Николаевны В.А.Злобина, покинули в темную, мслрозную ночь 24-го декабря 1919 г. (10). Гиппиус, разделявшая с Мережковским любовь к России, определяемую им как "не только любовь, но и влюбленность, ибо Россия—Мать и Невеста, Мать и Возлюбленная вместе," (11) описала свое отчаяние при расставании с любимым городом навеки в трезвых, лаконических, но потому и особеннс поэтических образах в стихотворении "Отъезд":

До самой смерти. Кто бы мог подумать?

(Санки у подъезда, Вечер. Снег.)

Никто не знал. Но как было думать,

Что это—совсем? Навсегда? Навек?

Молчи! Не надо твоей надежды!

(Улица, Вечер. Ветер. Дома.)

Но как было знать, что нет надежды?

(Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.) (12)

В Польше Мережковские и Философов с самого начала занялись поисками новых участников в борьбе против большевизма. Они читали лекции, писали политические статьи в газетах "Милский курьер" и

"Свобода" и принимали активное участие в собраниях русских эмигрантов с польскими офицерами, представителями польского правительства и польской шляхты. На этих собраниях обсуждались вопросы действенного сопротивления большевикам и свержения их захватнической власти. Гиппиус была с головой погружена в анти-большевистскую деятельность сначала в Минске, а затем в Варшаве, куда они приехали в середине февраля 1920 г. Мир с советской Россией, заключенный маршалом Пилсудским 12-го октября 1920 г., однако, положил конец "Русскому делу" Мережковских в Польше. 20-го октября 1920 г. они уехали из Польши в Париж—на этот раз без Философова—с продолжительной остановкой в Висбадене.

В письме к Н. А. Бердяеву от 20-го февраля 1923 г. Зинаида Гиппиус так изобразила годы своей жизни между 1917 и 1920 гг.:

*Что касается меня—то не говоря уже о том, что в России я фактически последние годы была лишена всякой возможности какой-нибудь работы—здесь, в Париже, делать совершенно нечего. Вначале, когда мы приехали сюда после полугодовой варшавской горячки, времена были другие несколько; теперь странно о них вспомнить; теперь Париж, в русском смысле, пустыня; нет ничего, и даже нет никаких возможностей для бытия чего-либо. Эмигранты—одичалые единицы или замкнутые старые кружки, как старые эс-эры, сухая и тупая группа Милюкова. ( 13 ) Все это неподвижно и непроницаемо. Единственная газета "Последние новости" Милюкова—кураж на смех...Есть еще церковный кружок, но это и все; окружение его—неинтересные "остатки" русской бюрократии, с которыми просто нам нечего делать и не о чем говорить. Остается одно: уйти каждому в себя, в собственную личную работу. Так люди, по возможности, и делают. Так ушел и Д. С. (Мережковский), так пытаюсь делать и я, хотя с непривычки мне очень трудно писать с сознанием, что это только для себя и только...*

*Россия? Нет, я без доброго чувства вспоминаю последние годы, там проведенные. Я не ту же вас знаю, до какого высокого подъема духа могут там дойти люди. Письма, которые я оттуда получаю, нельзя читать без чувства величайшего благоговения. Я знаю, я прямо вижу там, в России,—святых. Быть может, останься я там эти два года, и я бы приобрела это сиянье. Но когда я уезжала—было еще время действенных надежд, борьбы и веры, что нужна какая-то волевая устремленность. Оказалось, не нужна, но и святости той здесь не приобретаешь. ( 14 )*

В письме к Бердяеву от 13-го июля 1923 г. Гиппиус продолжает жаловаться на отсутствие подходящей к ее силам деятельности:

"Завидую вам, что вы чувствуете себя в акции, в деле, в работе. Я наоборот, ясно вижу, что выброшена отовсюду и некуда приложить сил, которые у меня еще остались. Нечего и не с кем делать. Страшное состояние и для моей природы неподходящее." ( 15 )

Несмотря на свое критическое отношение к русской эмиграции в

Париже, в "эмигрантском...царстве (или курятнике или болоте)", ( 16 ) как она с горечью называла русских эмигрантов во Франции главным образом из-за их политической апатии, Гиппиус продолжает дальше развивать свою деятельность. Прежде всего она требует от русских эмигрантов сохранения своего национального и культурного достоинства и сознания принадлежности к России, русской нации, русскому народу. Оказавшаяся в результате политических событий на Западе русская интеллигенция должна передать значение и сущность предоставленной ей в Европе политической и духовной свободы своим соотечественникам в советской России, утратившим эти сокровища после катастрофы 1917 г. В передаче этой свободы Гиппиус видела патриотический долг каждого образованного русского на Западе, его служение оставшимся в России и его непосредственное участие в спасении родины при помощи полного раскрытия внутренней сущности большевизма и непримиримого отношения к нему.

В Париже Зинаида Гиппиус организует религиозный союз, в который входят, кроме самой Гиппиус и Мережковского, Н. В. Чайковский, по ее словам, "старый, идеалистически настроенный *народник*," И. П. Демидов, помощник П.Н. Милюкова в газете "Последние новости", В. А. Злобин, А. В. Карташев ( 17 ) и Н. В. Вакар, член кадетской партии и глубоко религиозный человек. Позже Гиппиус переименовывает свой союз в "Союз Непримируемости," для которого она собственноручно пишет "**profession de foi**".

"Союз Непримируемости" задумывается ею как религиозно-политическое общество, но вскоре на их заседаниях начинают обсуждаться и религиозно-философские проблемы, напоминающие по своему характеру проблемы и дискуссии Религиозно-философских собраний Мережковских в начале века в Скт. Петербурге. "Союз Непримируемости" подчеркивал необходимость сохранения цельности и неприкосновенности личности при всех возможных на нее отрицательных влияниях. В центре этических размышлений Гиппиус всегда стояли концепции "Личности" и "Коллектив" как тезис и антитезис и их стремление к органическому синтезу. В советской России, утверждает Гиппиус, понятие "Личности" полностью вытесняется понятием "Коллектива". Но "Коллектив", по ее мнению, без "Личности" может существовать только в искаженной форме. ( 19 ) Для предотвращения губительного воздействия марксистско-ленинской идеологии на русского, уничтожающей его духовную независимость, сознание и человеческое достоинство как мыслящей личности, Зинаида Гиппиус составляет особую "иерархию ценностей," в которую входят понятия Свободы, Лояльности, Равенства, Культуры, Братства, Нации и т.д. "Непримируемость" самой Гиппиус и ее Союза была направлена на борьбу против правительств, попирающих коллектив и личность и разрушающих их гармонические

взаимоотношения. Большевизм, с его систематическим уничтожением старых ценностей без замены их новыми, с его отрицанием русской культурной и религиозной традиции, с его попранием человеческой личности, не мог не восприниматься поэтессой как одно из проявлений "Абсолютного зла". Всякая попытка примирения с большевиками мыслилась ею, поэтому, как измена человечеству, и своим первым долгом она считала борьбу за Новую Россию и за Новую Европу. Новая Россия, Россия грядущего, будет основана на любви Иисуса Христа как на абсолютной духовной свободе индивидуума. Преодолев безбожный большевизм и вступив в новый, тесный союз с Новой Европой, также возрожденной в свете открывшейся человечеству любви Иисуса Христа после Его Второго Пришествия, Новая Россия спасет мир от гибели. Человечество, таким образом, создаст новое общество на основе "новой религиозной общечеловечности", понимаемой в свете религиозной этики как Свобода, Равенство и Братство. Это и будет начало Царства Третьего Завета, как его себе представляла Гиппиус.

Как следует из вышесказанного, Зинаида Гиппиус навсегда осталась верной своим религиозным и общественно-политическим идеалам, которые в ее философской системе составляли единое целое. *"О непримиримости, о коммуно-большевизме и его противниках"*, поэтому, является не только важным материалом для ознакомления с интеллектуальной жизнью русской эмиграции тридцатых годов, но и наглядной иллюстрацией мировоззрения самой писательницы. В статье мы видим живое лицо Гиппиус, умного и зоркого, с логической ясностью излагающего свои мысли и заключения мыслителя. Непосредственный участник совершающихся событий той эпохи, Гиппиус стремится в этом своеобразном манифесте создать ясную перспективу для своих русских современников-эмигрантов, с предельной точностью сформулировать для них сущность непримиримого отношения к большевизму и пробудить их к решительным действиям против него. Более того, статья имеет ценность и как личная исповедь писателя, горячего патриота своей родины и одного из ее убежденных идеалистов.

## НЕПРИМИРИМОСТЬ И ДОПОЛНЕНИЕ

### *О НЕПРИМИРИМОСТИ, О КОММУНО-БОЛЬШЕВИЗМЕ И ЕГО ПРОТИВНИКАХ.*

Пора поставить точки над "и". Раз навсегда определить что такое "НЕПРИМИРИМОСТЬ" (русское понятие 30-х годов) – и больше к этому не возвращаться.

Не будем, прежде всего, считать, что если кто-нибудь не провозглашает "непримиримости" — он, тем самым *не против* коммуно-большевизма, советской власти, или даже *за* нее. Это ошибка, часто недобросовестность. Бывает, напротив, что человек долго зовет себя "непримиримым", а потом, при каких-то изменившихся обстоятельствах искренне оказывается на стороне властвующих "коммунистов".

Для этого и надо определить "непримиримость", чтобы в широком кругу "противников большевизма" (т.е. почти всей эмиграции) произошло разделение—без ссоры, а со взаимным пониманием друг друга: чтобы "*п р о т и в н и к и*" большевиков не смешивали себя, а сознательно отделились от тех, кто с большевиками *н е п р и м и р и м*.

Но вот вопросы, требующие ответов.

Первый: *е с т ь* или *н е т* в коммуно—большевизме какая—нибудь незыблемая основа,

*к о р е н ь*, из которого вырастает дерево, или

*ф у н д а м е н т*, на котором строится соответствующее здание,

или отправная *т о ч к а*, из которой может выходить линия только известного направления,

или как бы *idée-mère* особого свойства, рождающая явления — следствия своего же подобия, т.е. с теми же свойствами—

*е с т ь* или *н е т* ?

Противник большевизма может ответить: такой подосновы, корня, фундамента, точки или идеи определенного свойства, абсолютно—неизменного,—в коммуно—большевизме

*н е т*.

При подобном ответе разговор о "непримиримости" должен прекратиться. Данный противник большевиков, если и остается противником, нас уже не понимает.

Но другой может ответить:

*д а, е с т ь*.

Признав существование неизменного корня и признав, таким образом, подобие всего, из него произрастающего, данный противник большевизма должен идти дальше: определить эту особенность и свойство идеи—матери коммунизма (и русского большевизма), рождающей явления того же свойства.

Предлагается такое объяснение:

Во всех человеческих идеях, так или иначе, всегда заложен вопрос

о "едином" и "множестве" или

*о Личности и Коллективе.*

Он всегда присутствует там в виде *тезы и антитезы*. Безразлично, дается ли в одной идее примат Личности, или, в другой, Коллективу: в реализации линия всегда идет к цели синтеза. Корневые свойства идей, с этой стороны,—подобны. Между тем:

в первичной и главной идее коммуно-большевизма *вопроса о Личности-Коллективе не заключено во все*. Отсутствие понятия "личности", заполнение одним понятием "коллектива",—это так существенно отделяет ее от других человеческих идей, что она, в этом отличии, лишается даже понятия "идеи", становясь как бы сводом неподвижных догматов. Все, с нею связанное, из нее выходящее (явления, формы, людские действия) создается в ее же подобии, т.е. на таком же отличии от форм и явлений, рожденных всеми другими идеями.

Реально, формы эти могут принимать (по времени, по условиям) разнообразную *видимость*: но существо их, как и общее направление линии, *остается неизменным*.

И в конкретности, в жизни, происходит еще следующее: те, кто по линии этой идут, естественно сталкиваясь с человеческим понятием (или проявлением) "личности", *не могут не вести с ней самую жестокую и всестороннюю борьбу, войну по всему фронту*: как против внутреннего самосознания "человека", так и против *физической* человеческой единицы, по нужде (и возможности) ее *физически* уничтожая.

Допустим теперь, что противник большевизма, с которым мы разговариваем, такое определение неизменного коммунистического корня (с ветвистым его деревом, советской властью)—принимает. Принимает, и, допустим,—даже на этом свое отрицательное отношение к советской власти основывает.

От "непримиримости" еще, однако, далеко. Противник большевизма должен знать,—ответить себе,—на два вопроса; оба очень важны.

Во-первых—есть ли у него твердая "иерархия ценностей" и какова она?

Предположим, что она у него есть; что он признает ценность "личности" (как тезу, или антитезу "коллектива"—все равно); что он понимает, как и почему, *в не понятия "личности"* исчезают и понятия свободы, родины, нации и т.д.; почему они делаются "*ничем*" при извращенном понятии "коллектива", и почему последнее понятие не может не быть *извращенным*.

Но тут встает второй, последний, общий вопрос, индивидуальный и общий, на который легко ответить, а при ответе, самом добросовестном, легко ошибиться.

Мы предположили, что противник большевизма на все предыдущие вопросы ответил убедительно. Признал неизменность корня и подобие вырастающего из него. Принял известное определение его свойств, а

также необходимую иерархию Ленностей. Но—

*как он все это понимает?*

*Умственно?* или

*Умственно и чувственно* вместе?

Принять в умственном порядке все, о чем шла речь, не то, что легко, а даже, наоборот, *не* принять почти невозможно. Но это принятие ни от чего не ограждает, не защищает,—так оно хрупко. При столкновении с многообразными, сложными, всегда грубыми явлениями жизни, идейный противник коммуно—большевизма может как бы потерять память о том, что собственный ум его принял вплоть до собственной иерархии ценностей. Он действительно знал—и действительно забыл, если его "знание" не было *"умственно—чувственным"*, а только умственным. Видимость изменения форм начинает действовать на его ощущения, которых уже сознание не контролирует; напротив, они, ощущения, сами пытаются создавать умственные положения, их утверждающие или оправдывающие.

Разрушение иерархии ценностей толкает к частному и беспорядочному "выбору". Представляется, например, возможным делать выбор между грозящими России потрясениями, внешними потерями, и дальнейшим ее *"мирным"* существованием под советской властью. Выбирается, во имя "блага родины",—второе. Нередко выбор падает на советскую власть, даже при опасении ее замены какой—нибудь другой властью, европейской формы: *"количества"* зла, по сравнению, какется в коммуно—большевизме меньше.

Противление коммуно—большевизму может оставаться, но он судится, берется уже в категории *количественной*: он уже *"выбирается* в тех или других случаях; ради освобождения от него какие—то жертвы можно принести, а какие—то нельзя. Взамен разрушения иерархии ценностей создается "иерархия жертв". Противник большевизма уже не видит, что создать ее нельзя; что он, в данном случае, чем бы не согласился пожертвовать, жертвует каждый раз

*всем—ничему.*

Итак, помещение коммуно—большевизма в категорию *количественную*; возможность *выбора* между советской властью и какой—нибудь другой, *иерархия жертв*,—все это реальные вехи на реальном пути в реальное *прииренние* с русской советской властью (коммуно—большевизмом в процессе реализации).

Тут мы видим, что между двумя "противниками" большевиков,—*первым*, который вообще не пожелал входить в сущность коммуно—большевизма, и *вторым*, который проделал путь его исследования и признал главные положения,

*но лишь в порядке умственном*,—действительной разницы нет. То есть, нет ее по отношению к НЕПРИМИРИМОСТИ.

Потому что:

"непримиримым" может называть себя тот, кто, понимая подлинную

сущность коммуно-большевизма и советской власти, *сознает и чувствует* (одновременно) свою невозможность быть с ней когда бы то ни было и где бы то ни было заодно.

И даже *со знанием чувствует* невозможность, в какой бы то ни было момент, прекратить с ним (и с советской властью) борьбу за уничтожение,—все равно в какой форме.

Таким образом:

"Непримиримость" есть состояние "умственно-чувственное".

*Непримиримость, утверждая* ценность "личности", человеческой, предполагает борьбу не за нее только, но за все, что, вне личности или какого-нибудь ее понятия, превращается (реально) в ничто, уничтожается; то есть, это борьба

за свободу,

за нацию,

за общество,

за честь,

за народное достоинство,

за человеческую жизнь, духовно-телесную.

Одни "противники большевиков"

*могут примириться*

с потерей этих ценностей. Могут поэтому соединяться или видеть себя, при каких-то обстоятельствах, в соединении с их фактическими уничтожателями.

Другие "противники большевиков" с потерей свободы, чести, общества, нации, человеческого достоинства и человеческих жизней—*не могут* примириться.

Поэтому не могут ни соединяться с врагами этих ценностей, ни прекратить за них борьбу.

В НЕПРИМИРИМОСТИ нет "выбора. Выбор уже сделан.

В НЕПРИМИРИМОСТИ нет традиций жертв: все жертвы как бы уже принесены.

НЕПРИМИРИМОСТЬ рождена *и де ей создания*, той же, по существу, которую Владимир Соловьев называет "идеей восхождения" и которую понимает Бергсон, говоря об оживлении или одухотворении материи. К ней примыкает и Вейнингер, выдвигая свою "теорию ценностей".

НЕПРИМИРИМОСТЬ—одно из условий, которых повелительно требует *общая и де я создания*. Для участия в ней

НЕПРИМИРИМОСТЬ, по времени,—условие, абсолютно не обходимое. Условие, или иначе—оружие в творческой борьбе; сложивший его, или не имеющий силы поднять, тем самым из нее выпадает; то есть он уже отстранен и от движения времени—вперед. "Необратимость" же времени,—движение вперед,—есть так же одна из великих "ценностей"—этических.

Вот что такое

НЕПРИМИРИМОСТЬ,

или вот что можно о ней сказать, никого к ней *не понуждая*, никого, ее не принявшего, *не осуждая*.

Вопросы, здесь заданные, так или иначе встанут, если уже не встают, перед каждым, мало-мальски сознательным человеком.

И каждый, рано или поздно, на них себе ответит. Как, в чем выразится ответ,—человека, группы людей,—это уж не столь важно. Но он будет дан, тот или другой. И даже осознанное желание безответственности—напрасно, ибо в нем самом будет

ответ.

\*\*\*\*\*

Чтобы отвести возможный упрек на уровне "определений" "вопросов", и т.д.—достаточно напомнить об известной узости самой темы. *Непримиримость* к коммуно-большевизму—лишь *одно из* условий или оружий, необходимых *абсолютно*, и, прежде всего, для участия человека не только в современной общечеловеческой борьбе, но даже просто в современной жизни: то, что называется "жизнью просто"—все—таки есть творческая борьба, независимо от того, в какой жизненной области она происходит.

Для понимания, что такое "*Непримиримость*", и какое место, *в наше время*, она занимает,—слишком довольно и тех определений сущности "коммуно-большевицкой" идеи, с ее современной реализацией,—которые здесь даны.

(См. "ДОПОЛНЕНИЕ")

## ДОПОЛНЕНИЕ

(О Неприми́рности, о непримиримцах и анти-непримиримцах).

Из трех, взятых нами, "противников" большевизма, *первый*—не желающий рассуждать о Неприми́рности и не имеющий к ней отношения. С ним, естественно, разговор не продолжается.

*Второй*—

принявший коренное и существенное определение коммуно-большевизма и Неприми́рности, но принявший его лишь *умственно*.

Он, как уже говорилось, рискует постоянно изменять своему внутреннему убеждению, сталкиваясь со сложностью реальной жизни, забывая о всякой непримиримости, и даже оказаться, при тех или других обстоятельствах, на стороне Советской власти.

Но, в большинстве случаев, этот разлад остается его личным делом. *Третий*—или *третьи* "противники большевизма", (группа их довольно многочисленна)—это те, кто воспринимает коммуно-большевизм и непримиримость свою к нему исключительно в *порядке чувства*.

На них следует остановиться. А так как они, со своими *чув-*

*с т в а м и*, рожденные реальной жизнью, в ней реально действуют, то и чувства их, и действия (следствия "*о щ у щ а е м о г о*" анти-большевизма) должны тоже рассматриваться *в порядке реальности*.

Эти "непримиримцы" громче всех заявляют о своих анти-большевицких чувствах и непримиримости. Но как анти-большевизм, так и Непримиримость их, довольно своеобразны.

Чувства дают им *ненависть*. Ненависть легко облекается в слово "Непримиримость"...но к кому скорее? К большевизму, или к наличным большевикам, в Москве сидящим?

Чувства, далее, подсказывают им, что Непримиримость обязывает к действиям, к борьбе. Отсюда—"*активизм*",—во всех формах, хотя бы и в форме разговора о нем, или призывом к нему.

Почему, однако, свойство этого активизма, этих действий, чувствами (пусть верными) диктуемых, заставляет обращаться, в конечном счете, и против самих деятелей, и против Непримиримости?

Объяснить не трудно.

Из одних чувств, даже самых верных, не рождаются верные *человеческие* действия (или верные слова). Борьба с врагом, которого мы не понимаем, не видим, может быть только цепью поражений. И наше оружие, если мы по неумению портим его—обращается против нас.

Так оно в реальности и происходит: независимо от форм этой борьбы, каждый выпад данных "непримиримых" кончается или ничем, или бессмысленным поражением. Но, не понимая вреда *такой* борьбы для самого дела противления большевизму, они ее продолжают.

И вред тем больше, чем они искреннее и наивнее. Такой "непримиримый" может быть даже героичен. Он может рисковать жизнью. Он не знает, что жертва его—в лучшем случае—бесполезна, в худшем—идет на пользу врагу.

Но не только делу противления большевизму вредят данные "Непримиримцы": присваивая себе это название, они *искажают* самую "*Непримиримость*".

Почему—и как?

Первая, общая причина—все та же: полное *неведение* сущности и природы коммуно-большевизма. Неведение, граничащее с *невеществом*. Чтобы понять его характер и характер Непримиримости, которую провозглашают и исповедуют "непримиримцы" данного толка, надо остановиться на их разновидностях.

Они делятся на:

*неспособных вообще* к мышлению;

*неспособных мыслить* самостоятельно;

*немогущих сойти* с бывших, раз принятых, позиций (по биографии, по старости лет);

*самоуверенных индивидов*, невежд по всей линии, во всех отношениях и деталях; и на

*неуспевших*, по молодости лет, разобраться в своих чув-

ствах, слишком рано захваченных в орбиту известных "непримиримцев".

Героичны бывают лишь последние. Когда они борются, обреченные на поражение, и гибнут,—это воистину потерянная ценность.

Наиболее же вредна, в смысле искажения образа Врага и Непримиримости, безответственная деятельность самоуверенных невежд, даже не отдающих себе отчета, ради чего они действуют так, а не иначе.

Вследствие всего этого данные "анти-большевики-непримиримцы" (не имеющие ни иерархии ценностей, ни, может быть, понятия "личности") *н е о т л и ч а ю т* явлений, коммуно-большевизмом рожденных, от других из другого источника идущих. И объявляют "большевицким" всякое положение, убеждение или идею, где они находят какую-либо внешнюю, даже *с л о в е с н у ю*, связь с русскими событиями последних десятилетий. На подобные идеи и положения они распространяют (как и на их носителей) свою *н е п р и м и р и м о с т ь*,—(и с ними борются).

Не удивительно, что при смешении всех понятий, при отсутствии не только творчества, но и воображения, эти "непримиримцы" *н е п р и м и р я ю т с я* ни с *с о ц и а л ь н о й* идеей, ни с правами *л и ч н о с т и*, ни с *п о с т у п а т е л ь н ы м* движением истории, ни со *с в о б о д о й*, ни даже с современным понятием "*н а ц и и*" и "*н а ц и о н а л и з м а*",—ни вообще ни с чем, что могло бы изменить "образ мира" по сравнению с тем, отошедшим в прошлое, который они хотели бы вернуть. Желание тоже "чувственное", без определенности,—но это ничего не меняет.

К таким "непримиримым", под знаком такой "Непримиримости", средний, мало-мальски сознательный, "противник большевизма" не пойдет. Но он может *н е п о н я т ь*, что есть другая "Непримиримость", подлинная, не искаженная группами, которые лишь по захватному праву пользуются ее именем. Слишком легко, оттолкнувшись от такой группы, попасть в другую (так не реально существующую), *о б р а т н о - п о д о б н у ю*, отрицающую вообще *в с я к у ю* непримиримость. Это тоже "противники большевиков", они тоже не вникают в сущность коммуно-большевизма; тоже не могут (по биографии, по старости лет, или по другим причинам) сойти со своих, раз принятых позиций и тогда же установленных понятий. Если группа "непримиримых" стоит (полусознательно) за "образ мира", некогда бывший, то анти-непримиримцы—за некогда ими собранный, не бывший, и все меньше имеющий шансов *б ы т ь*. Борьба этих двух, *о б р а т н о - п о д о б н ы х* групп между собою (гораздо более интенсивная, нежели борьба каждой,—особенно второй,—с большевиками) приносит некоторую пользу Советской власти, кстати, сама же по себе бессмысленна: огульно друг друга отрицая, обе группы взаимно уничтожают и всякую *д о л ю п р а в д ы*, которая есть

и в той, и в другой.\*

А что касается "Непримиримости", то обе стороны одинаково не отдают себе отчета, за *какую* ратует одна, против *какой*, во имя *чего*, протестует другая. Значение "слова" (подобно и многих других), в истинном его понятии—утрачено.

Оно вернется лишь тогда, когда будет двинуто вперед серьезное дело: раскрытие основ коммуно—большевизма. Если мы внимем во внутреннюю его *суть*, *поймем* его, — *умственно — чувственно* — в его истоках и следствиях, мы поймем, что одно из самых необходимых и действенных оружий в реальной с ним борьбе

## НЕПРИМИРИМОСТЬ.

Зинаида Гиппиус

\*Объективное замечание: для "анти—непримиримцев", борьба их с "непримиримцами", к сожалению, облегчена слишком наглядным, всесторонним "невежеством" последних, что, в связи с некультурными приемами, печально сближает их с воспитанниками и защитниками советской власти, молодыми и старыми "москвичами".

## П Р И М Е Ч А Н И Я

1. См. публикацию Т. Нахмусс, "Зинаида Гиппиус; Варшавский дневник", *В о з р о ж д е н и е* (Париж, 1968), №214, стр. 71-88; №215, стр. 90-111; №216, стр. 27-44.
2. См. публикацию Т. Пахмусс. "Зинаида Гиппиус: История интеллигентской эмиграции", *"Russian Language Journal"* (1972),
3. "Воскресенья" — знаменитые литературные *soirées* Мережковских в Париже (1925-1939). См. больше о "воскресеньях" в книге *Temira Pachmuss, Zinaida Hippus: An Intellectual Profile* (Southern Illinois University Press, 1972 стр. 239-241 245-246, 277.
4. "Зеленая лампа" — литературно-политическая группа в Скт. Петербурге (март 1819-осень 1820), встречавшаяся в доме Н.В. Всеволожского, друга Пушкина. Участники этих собраний: А.А. Дельвиг, Н.И. Гнедич, Д.И. Долгоруков, Пушкин и др. Для членов этой группы "Зеленая лампа означала" свет и надежду. Мережковские организовали свою литературно-философскую группу в Париже по тому же принципу. См. больше о "Зеленой лампе" в книге *Zinaida Hippus: An Intellectual Profile, op. cit., p.p.188, 235, 238-239, 247, 249,*
5. "Зинаида Гиппиус : История интеллигентской эмиграции", *op.cit.,# 94-95, p.5-6.*

6. Ibid., p.3.
7. З в е н о (Париж, 1923-1928), еженедельный журнал литературы и критики под редакцией М.М. Винавера 1862-1926). В годы 1926-1928—ежемесячный журнал под редакцией М.Л. Кантора (1885-1971). Сотрудники З в е н а: Г.Адамович, К. Мочульский, В. Вейдле, Ю. Терапиано, А. Ремизов, Г. Кузнецова, Н. Бахтин, Г. Иванов, В. Мамченко, А. Ладинский и др.
8. Евлогий, Митрополит Западной Европы (Георгиевский, 1868-1946),, известный либеральными взглядами, проповедовавший необходимость независимости Русской Православной Церкви в эмиграции от Московской патриархии. См. больше в книге **Temira Pachmuss, Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus, (Munich: Wilhelm Fink Verlag, 1972), p.143-144.**
9. "Зинаида Гиппиус: История интеллигентской эмиграции", **op. cit., #94-95, p.4-5.**
10. См. подробное описание их бегства из России в книге Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философов, В.А. Злобин, Ц а р с т в о А н т и х р и с т а (Munich: Drei Masken Verlag, 1921).
11. **Ibid., p.250.**
12. С о в р е м е н н ы е З а п и с к и (Париж, 1935), стр. 232.
13. Милуков, Павел Николаевич (1859-1943). Редактор газеты П о с л е д н и е Н о в о с т и в Париже с 1921 по 1940 гг. Возглавлял партию конституционных демократов, член Третьей и Четвертой Дум, Министр Иностранных Дел при Временном Правительстве, профессор истории, автор многих научных трудов, напр., Р о с с и я и е е к р и з и с (1906), Ж и в о й П у ш к и н (Париж, 1937), О ч е р к и р у с с к о й к у л ь т у р ы (Филадельфия, 1941), в двух томах; В о с п о м и н а н и я: 1859-1919 (Нью Йорк, 1955) и др.
14. **Temira Pachmuss, Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus, p.147-149.**
15. **Ibid., p.150.**
16. **Ibid., p.162.**
17. Карташев, Антон Владимирович (1875-1960), первый министр Православного вероисповедания в кабинете министров Керенского, профессор теологии в Русском Богословском Институте в Париже, автор многих научных трудов, напр., Н а л у т ы х в с е л е н с к о м у с о б о р у (Париж, 1932), В о з р о ж д е н и е С в я т о й Р у с и (Париж, 1956), И с т о р и я Р у с с к о й Ц е р к в и (Париж, 1959), в двух томах; В с е л е н с к и е с о б о р ы (Париж, 1963) и многих других. Близкий друг и соратник Мережковских в Скт. Петербурге.
18. См. полный текст "**Profession de foi**" в книге **Zinaida Hippus: An Intellectual Profile, op. cit., p.220-222.**
19. См. об этом в статье Зинаиды Гиппиус, "Непримиримость", Р у с с к а я м ы с л ь (Париж, 1957), № 16, опубли. посмертно.



Не взыскать равновесия  
на весах справедливости,  
Но какие-то веси я  
защищая из милости.

Два чела возвышаются,  
и смотрю в эти лица я.  
Предо мной раскрывается  
вековая традиция.

Роковая игра!  
Что в ней глубже? – Не знаю.  
Отходя от Петра,  
подхожу к Николаю.

И как будто бы кто-то  
заклинанье простое  
мне твердит:  
"от Полета  
возвращайся к Покою."

## ШАГ В СТОРОНУ.

Если ты сделал  
шаг в сторону,  
это уже – побег.  
Если был в черном вороне,  
ты больше – не человек.  
Если ты в лагерной робе,  
с номером  
на груди,  
ты – под конвоем Злобы,  
здесь Доброты – не жди.  
Зоны,  
запретки,  
провода...  
Бараков дощатый тес.





## У ГРОБА МИНДСЕНТИ

Прошло не много и не мало,  
а девятнадцать лет прошло,  
с тех пор,  
        как, знавший только зло,  
узнал я имя Кардинала.

И вот замкнулась карусель  
событий, мчавших в жизни гору.  
Я тихо подхожу к Собору...  
Здесь Австрия...  
        Марицелль...

Соборное успокоенье...  
Венки и свечи...  
        Полусвет...  
В душе моей не вдохновенье  
(для вдохновенья силы нет),

а просто,  
        смутный и печальный,  
как задрожавшая струна,  
струится отзвук погребальный  
Непогребенного сполна.

Того, что сбылось  
        и не сбылось,  
того, что есть  
        душевный стон,  
или крылатый полусон,  
что красит жизни обескрылость.

Поют мечты колокола,  
молчат колокола Собора;  
есть место "голосу из хора",  
нет места больше хору зла.

Зри Вековечное – в моменте!  
Не бойся жить души огнем!  
Есть святость в имени Миндсенти,  
а значит, и бессмертье в нем.

И значит, этот сумрак зала  
есть жизнь,  
и — может —  
жизнь в раю...  
И, значит, я не зря стою  
сейчас у гроба Кардинала.

Марицелль, 1975 г.

*Александр Гидони — поэт, историк, журналист, родился в Ленинграде в 1936 году. Один из первых политических диссидентов "поколения 1956 года". Был в заключении в Потьме (Мордовия) с №956-го по 1960 гг. Закончил исторический факультет и факультет журналистики Ленинградского университета. Кандидат исторических наук, доцент. Автор статей исторического, философского, литературоведческого характера. Многие его литературные произведения распространялись в Самиздате. В 1974 году в письме на имя Подгорного отказался от советского гражданства по политическим мотивам, заявив о себе как о стороннике Солженицына и Сахарова. В мае 1975 года выехал из СССР. В Торонто живет с августа 1975 года.*

О. БИРИНЦЕВА

В былом меня не мучили сомненья,  
Так хороши всегда *былые* дни.  
И дольной веры светлые мгновенья —  
Что темной ночью — дальние огни.

И юность, до сих пор огнем пылая,  
Мне благовестно шлет любви привет.  
И хоть живу я в мире, дух смиряя,  
Все ж нет смиренья, как и мира нет.

\* \* \*

ДЗЭН – БУДДИЗМ

В третьем номере журнала "Континент" помещена очень интересная статья Г.Померанца: "Эвклидовский и "неэвклидовский" разум в творчестве Достоевского". В ней Г.Померанц часто касается учения дзэн, его практики и его философии.

Будучи востоковедом, Г.Померанц в 1971 г. написал диссертацию о дзэн-буддизме, но защита ее в Советском Союзе не была разрешена.

\*\*\*

Совершенно иначе обстоит дело на Западе. За последние двадцать или тридцать лет, философская и художественная литература в Америке и Европе стала уделять большое внимание буддийскому учению дзэн. На Западе была опубликована обширная литература, изучающая все стороны этой религиозной секты. В американских университетах о ней читаются лекции; появилось много переводов древнекитайских мудрецов. Правда, дошедшие до нас их изречения неясны, они содержат много афоризмов, в них много противоречий, недоговоренного. Они передавались из уст в уста философами—поэтами, часто при помощи "хокку", как это было в Японии, т.е. трехстиший, требовавших мыслительного участия слушателей. Иногда для их понимания необходимы были комментарии ученых мужей, не всегда согласных друг с другом.

Труды буддологов: В.М. Алексеева, Ф.И. Щербацкого, Ю.Н. Рёриха и главным образом книги японского философа Д.Т. Сузуки и американца Алана Уаттса открывают нам предпосылки к учению дзэн в том виде, в каком оно пришло из Японии на Запад.

\* \* \*

Дзэн берет свое начало от Махаяны,— крупнейшей ветви буддизма, зародившейся в Индии между пятым и третьим вв. до Р.Х. Из Индии это учение перешло в Китай и дальше в Японию. Самое японское слово "дзэн",— санскритского происхождения и в древнем Китае произносилось — "чань".

Первым патриархом дзэн считается индусский проповедник Бодхидхарма, пришедший в Китай в пятом веке нашей эры, будучи двадцать восьмым буддийским патриархом по линии апостолической преемственности, ведущей счет от самого Будды.

Вместо господствовавшего в то время торжественного конфуцианского ритуала, Бодхидхарма установил со своими учениками простые беседы, разбирая с ними вопросы этики и мироздания. Позже он ввел так называемую "чайную церемонию", когда вокруг очага с тлеющими углями, где в котелке кипятилась вода для чая, собирались гости. Они

вели задушевные беседы на различные темы, говорили об искусстве, о философии, избегая при этом спорных вопросов.

Для духовной, внутренней концентрации мысли, Бодхидхарма рекомендовал продолжительную медитацию при полной неподвижности тела. Позже дзэн изменил этот ритуал, считая его несущественной частью духовной практики.

\*\*\*

Большое влияние на философию дзэн оказало течение древнекитайской мысли Дао или Тао, зародившееся в Китае в четвертом веке до Р. Х., т.е. на два века позже возникновения Махаяны. Принципы этого учения изложены в трактатах китайского философа Лао-цзы, согласно которым Дао является первопричиной вселенной,— абсолютом, недоступный познанию и не выразимое в словах начало.

Даосизм призывает людей вернуться к природе, обители Цао; к простой жизни, к отказу от всяких желаний, к уходу от суеты. Это учение преконизирует отказ от войны, насилия над людьми и вмешательства в их жизнь.

Но лишь поучения шестого патриарха дзэн, Хуэй-Нэна, содержащиеся в его книге "Люцзу", т.е. "Книга поучений", придали этой школе буддизма стройный, систематический характер. А через несколько столетий это учение уже проникло в Японию, где впитав в себя некоторые элементы традиционной японской философии, положило начало дзэн-буддизму.

\*\*\*

Дзэн полагает, что природа Будды одна и что она находится в каждом живом существе, в каждом человеке, и искать ее нужно в самом себе, а не в священных записях — "сутрах"...

Само слово "будда", по санскритски: "просветленный", стало собственным именем индусского принца Гаутамы, покинувшего свой дворец, бесцельную жизнь в роскоши и удалившегося в горы в поисках истины.

Дзэн полагает, что достичь истину возможно только через мгновенное пробуждение при полной отрешенности от повседневного; через внутренний, духовный свет,— по японски это называется : "сатори". Такое состояние наступает внезапно, когда человек вдруг почувствует, что он является частью "всего", Вселенной, когда в нем пробуждается сердце Будды.

Но, согласно дзэн, в мире нет правил, которые могли бы указать человеку путь к достижению такого состояния. Оно не постижимо ни исканиями, ни тренировкой, ни изучением, потому что эта реальность — не наука, которую можно изложить в трактатах. Кроме того, человеческие мысли настолько сложны, что их невозможно объяснить словами.

Дзэн всего лишь указывает на то, как нужно жить, чтобы достигнуть полной гармонии с природой и вместе с ней уйти от мира.

\*\*\*

Язык дзэна отличается необыкновенной художественностью, лаконичностью, и творчество в этой философии — будь то живопись, каллиграфия, поэзия — рассматривается как посланная свыше благодать.

Пантеизм этого учения в значительной мере повлиял на характер восточной живописи. Основателем "чаньской" школы поэзии и живописи, так называемой "пейзажной лирики" обыкновенно считается китайский художник и поэт восьмого века н.э., Ван-Вей. Его стихи дополняя живопись, воспевают величие горных вершин, рек с водопадами, таинственность наполненных туманом долин. Текст таких стихов, каллиграфические надписи на художественных свитках, впоследствии послужат началом эстетического течения в искусстве дзэн, получившего свое развитие в Японии.

В середине 14 века н.э. в Японии возникла особая школа живописи дзэн, близкая к будущему "импрессионизму", когда художники, вместо кропотливых изображений деталей, стали делать быстрые, несколькими мазками кисти или палочки, рисунки тушью.

Они не столько стремились к фотографической точности сюжета, сколько желали вызвать у зрителя впечатление от того, что он видел. При этом самый обыденный предмет, не обладающий никакими эффектами, красивыми, гармоничными формами, мог заинтересовать художника: будь то свалившееся старое дерево, циновка на полу, нахохлившаяся птица на унылой ветке...

Кажущаяся простота и символика живописи дзэн, согласно мыслям этого течения буддизма, позволяет каждому, не лишенному эстетического вкуса человеку, стать живописцем. Такой взгляд вызвал большой энтузиазм среди современной молодежи, начавшей писать в духе псевдо — дзэн, не поняв сущности этой буддийской философии.

\*\*\*

Представив в общих чертах суть учения дзэн, интересно задать такой вопрос: что привлекло к этой своеобразной философии широкую западную интеллигенцию? Что в этой философии захватило наш мыслящий слой?

Для этого имеется много причин. Может быть, прямота, непосредственность мыслей дзэн, так отличающихся от нашей, западной многоречивой философии. Может быть, это было выражением протеста нового поколения против наскучивших нравоучений, царивших в западном мире, бунт против авторитета общепринятой морали...

Эти мысли нашли свое отражение в послевоенном движении молодежи, — сначала "битников", а позже "хиппи", — направленного против

конформизма, против уклада современного общества, против идеала достижения материальных благ. Это был отход неудовлетворенного и разочарованного поколения от "американской системы жизненных условий".

Битниковское увлечение философией дзэн — очень сложное явление. Есть в нем и подлинное искание истины, самоуглубление, но много в нем наигранности и соблазна к ничегонеделанию. Часто это буддийское учение служит оправданием их нежелания продолжать свое образование, уклонения от работы и странной, своеобразной живописи, а также лишенной всякого эстетического смысла музыки. Стихи же, скандированные из внезапно пришедших в голову бессвязных слов, как у Джакка Керуака в его книге "Биг Сур", — далеки от поэзии дзэн.

\*\*\*

Людей, живущих в согласии с принципами дзэн, пытающихся постигнуть всю глубину этой философии — немного. Прежде всего, следует отметить роль учения дзэн в мировоззрении Алберта Швейцера, лауреата нобелевской премии мира; показавшего всей своей жизнью путь к гуманизму. Его главным принципом является самый факт жизни, который он ставит выше факта мышления.

Следуя этим постулатам, очень близким к учению дзэн, Швейцер всюду выступает в защиту природы, всякой жизни на земле. "Чтобы понять, есть ли у животных душа — писал Швейцер, — нужно прежде всего самому иметь душу..."

Идеи дзэнского характера можно до некоторой степени найти и в философии "экзистенциалистов", и в западной живописи.

Так, Винсент Ван Гог и Анри Матисс, оба были захвачены творчеством дзэнских художников. В 1887 году Ван Гог пишет копию с гравюры Хиросиге: "Мост во время дождя". На манер японских мастеров Ван Гог обменивается картинами с другими художниками. Такой обмен был заимствован у древнекитайских живописцев, находивших, что картины или свитки, долго висящие в доме на одном месте, необходимо время от времени убирать или заменять другими, так как глаз привыкает к ним и уже не замечает их.

Х.Р. Гретц в своей книге "Символический язык Винсента Ван Гога" пишет: "Ван Гога ужасала мысль стать знаменитым. Он говорил, что успех не является критерием качества искусства или человека". Иногда Ван Гог даже не подписывал свои картины для того, чтобы сохранить свою анонимность, независимость; чтобы его картины ценились не из-за его имени, а за их художественное достоинство. Эти мысли удивительно сродственны с философией дзэн.

А его картина "Дорога с кипарисами", где на ночном небоосклоне одновременно светятся с тусклым ореолом полумесяц и другое, похожее на солнце, светило, рассматривается некоторыми исследователями дзэн, как художественное изображение мыслей "И Цзин". И Цзин (что

значит "Книга перемен") является древнекитайским сборником поучений, появившимся в Китае в 7 в. до Р.Х. В ней говорится в форме афоризмов о круговороте небесных тел в космосе; об изменчивости всего существующего вследствие борьбы сил тьмы и света...

Анри Матисс в "Записках живописца" говорит, что он так увлекся искусством Востока, что многие принципы, очень сходные с эстетикой дзэн, также вошли и в его творчество. Действительно, рисунки Матисса порой трудно отличить от работ дальневосточных мастеров.

Необходимо отметить влияние дзэн и на западную музыку. Оно особенно заметно в симфонии – кантате Густава Малера: "Песнь о земле", написанной им на текст дзэнских поэтов эпохи китайской династии Тан (618 – 907 нашей эры).

\*\*\*

Но, может быть, больше чем в живописи и философии, мысли дзэн нашли свое выражение в современной американской литературе, особенно в произведениях Джеральда Сэлинджера и Джак Керуака.

Сэлинджер стал рано увлекаться восточной философией во всех ее разновидностях: он изучал Веданту, Даосизм, зачитывался Упанишадами, но больше всего его привлекал буддизм – дзэн.

Учение дзэн отразилось почти во всех его произведениях, взять хотя бы "Девять новелл", "Фрэнки и Зуи", "Симур – Знакомство". В повести "Выше стропила, плотники" Сэлинджер приводит даосские и буддийские легенды, сказания отшельников, цитаты японских поэтов, и все это он переносит в современный мир условностей и конформизма.

Герой этих повестей поэт Симур проповедует равенство всякого труда. В человеческой деятельности не может быть иерархии: "Поэт не выше плотника, – пишет Сэлинджер, – он всего лишь несколько иной..."

Сам же Симур не публикует своих произведений, написанных в стиле и духе дзэн, так как в поэзии его интересует только самый процесс творчества, внутренняя музыка стиха. Для него важен смысл вещей, их внутреннее содержание, а не поверхностное впечатление от них.

Джак Керуак, другой последователь дзэн, в повестях: "На дороге", "Сатори в Париже" или "Бродяги Дхармы", а также "Биг Сур", воспекает беззаботную жизнь "битников", их стремление к анархической свободе. Отрицая мораль современного американского общества, они не нашли еще никакой другой морали. Это их своеобразный, упрощенный дзэн. Битники, а теперь "хиппи", бродят с рюкзаками за спиной по горам Калифорнии, и все они последователи йоги, веданты, дзэн... Они приветливы, в их глазах светится доброта. У них тоже есть своя, непонятная другим истина, вера в конечную разумную цель бытия.

\*\*\*

Пришедший на Запад дзэн потерял свою основную религиозность и восточный морализм. Тем не менее, мысли дзэн показали миру, что есть другие ценности, стоящие неизмеримо выше материальных достижений, к которым стремится Запад. Философия дзэн призывает людей отказаться от условностей светской мишуры, указывает жизненный путь, сближающий человека с природой, зовет к уважению всякого живого существа и в конечном счете — к познанию самого себя.

Философия дзэн — сама жизнь, не связанная системами, доктринами, учениями и постулатами. Она открывает глаза современному человеку на все зло, грубое насилие, лицемерие, царящие в нашем мире с его эгоистическим укладом жизни и фальшивыми моральными мерками — противопоставляя им настоящее значение эстетики и этики Востока.

\* \* \*

### 3. ДУБНОВ

#### МОСИФ ФЛАВИЙ

Он так сказал: "Покоя я хочу.  
Народа, Богом преданного, я ли  
Предатель? Кровью собственной плачу  
(Тем, что другие дорого продали)  
Свой долг пред ним...Теперь внесите тьму  
И, как примочки, приложите к векам.  
В моих глазах горящий Храм; ему  
Господней волей в них пылать навеки.  
На веки вечные...

Я у стены стою.  
Передо мной в гигантский знак вопроса  
Сгибает сильный ветер тень мою —  
И убегает к Виа Долороса.

\* \* \*

## СЕРЕБРЯНЫЙ КОРАБЛЬ

Н. Т э ф ф и

Деловое письмо, написанное той же рукой, какой были написаны сотни чарующих рассказов, так хорошо известных читателям и восхищавших их в течение полувека.

*Милостивый Государь!*

*Буду Вам чрезвычайно благодарна, если Вы найдете возможным защитить мои интересы в Америке.*

*Необходимо положить конец этому систематическому обкрадыванию несчастных эмигрантских литераторов американскими газетами.*

*Желаю Вам успеха в этом благом начинании и заранее благодарю.*

*Н. Тэффи*

*Р.С. Нужно отметить, что я не столько стою за запрещение перепечаток, сколько за то, чтобы эти перепечатки оплачивались.*

*Н.Т.*

*17 мая 1934, 18 Авеню де Версай, Париж.*

Письмо Надежды Александровны Тэффи было ответом на движение небольшой группы в Америке защитить права эмигрантских писателей и заставить газетных браконьеров платить хотя бы малую мзду за вольное пользование чужим трудом.

Рассказы Н. Тэффи всегда были ценным украшением, особенно для газетных мародеров, не плативших за них ни одного сантима. При самой скромной уплате за перепечатанные рассказы десятками зарубежных газет, писательница не разделяла бы обычную горестную судьбу большинства эмигрантских литераторов.

\*\*\*

Почти двадцать лет спустя пакет с книгами был послан из Токио Н. А. Тэффи в Париж. В сопроводительном письме говорилось, что пишет ей не "старый ученик", следивший бережно за ее работами в С а т и р и к о н е и других изданиях старой России.

Ответ пришел через месяц с небольшим не из Парижа от Н. А., а из Лондона от ее дочери Валерии Грабовской с извещением о смерти

писательницы за два года до этого. В письме говорилось много о Тэффи и желании рассказать еще больше при возможной встрече. И скупо о себе: польская эмигрантка, с 1940 года в Англии, в составе польского правительства в изгнании.

Встреча состоялась двумя годами позже, после воздушного полета из Токио в Калькутту, Тегеран, Бейрут, Константинополь, Афины, Рим, и, наконец, в Лондон. Конец ноября 1955 года, Роланд Гарденс, небольшой апартамент, изящная мебель, фотографии, картины, цветы, фарфор, китайские вазы, интерес, о котором Валерия Грабовская писала в Токио. Небольшого роста, болокурая голова, приятное лицо, которое, кажется, знаешь много лет, скромное платье с тем вкусом и изяществом, которыми славилась варшавянки. На руках, как дорогой мех, большой пухлый кот. Такой, как дочь, вероятно, была и сама Надежда Тэффи. Отличный русский язык с легким чарующим польским акцентом.

— Война нас разлучила. Мама была в Париже, а я в Варшаве до нападения Германии. Затем то же, что проделала в своё время мама, как и все вы, русские эмигранты: чужие страны, чужие города, чужой воздух, скитания и скитания. Полная неизвестность о судьбе родины, своих близких, своей собственной. Я служила и служу по-прежнему в польском правительстве. Теперь оно в изгнании, и неизвестно как долго оно продержится... Во время немецкой оккупации Парижа мама бедствовала. Эмигрантских газет, в которых она печаталась, уже не было. С большим трудом мне удавалось переслать ей деньги и провизию. Делалось это через знакомых в Алжире, а то и просто через людей, которым удавалось пробираться в оккупированную зону Франции и привозить туда деньги, провизию, одежду... Затем болезнь, госпиталь...

Валерия Грабовская замолчала и отвернулась. Ласковый кот шевельнулся и мягким движением передвинулся, чтобы положить голову на ее плечо... Краткое молчание, но достаточное, чтобы видеть дальше, за пределами маленькой гостиной.

...Сырая парижская зима, холодный, как склеп, камень госпитальных палат. Гулкие шаги по коридору, особенно по ночам... Бессонница, кровная сестра тяжелой болезни, с тревожным парадом прошлых дней, внезапно выпуклым, как никогда раньше... Память о полной жизни — иногда самая мучительная из всех ее многочисленных форм — о сказанном и написанном, о большом и малом, и все же малой части того, что еще только зреет в тайниках творческого замысла... О неизбежности и конце.

Но ведь смерти нет — есть лишь одно безвременное плаванье по неведомым морям или в межзвездном пространстве. Как об этом сказать? Поймут ли другие? Будут спорить громкими голосами, что это не так, что это только одна фантазия, когда хочется только тишины и покоя... Не поймут...

— Нет, мама не умерла в госпитале. Война закончилась, и мама жила еще несколько лет. По-прежнему жизнерадостная, бодрая, всегда

хорошо одетая, надушенная. Даже флиртвала. Но я как-то сохранила память о ней больше по военным годам и в госпитале. Те, кто навещал ее там, рассказывали, что мама не принимала врача, если не была причесана, поддурмянена, с тщательно обведенными губами... Никаких жалоб, просьб — всем довольна, жизнерадостна. Я до сих пор вижу маму среди своих посетительниц. Она рассматривает их, выслушивает, стараясь запомнить их слова, выражения лиц, чтобы написать еще один, свой, тэффин рассказ... В оставшихся после ее смерти вещах, я нашла посланные вами книги и письмо. То, на которое я откликнулась за маму. Много записок, набросков, писем, начатые рассказы. Неоконченные, жаль. И вот это стихотворение. Как помню, оно было написано раньше, но я всё связываю его с госпиталем и маминой болезнью. Я сохранила его для вас.

Он ночью приплывет на черных парусах,  
Серебряный корабль с пурпуровой каймой,  
Но люди не поймут, что он приплыл за мною  
И скажут: "Вот луна играет на волнах..."

Как темный серафим три парные крыла  
Он вскинет паруса над звездной тишиною,  
Но люди не поймут, что он уплыл со мною  
И скажут: "Вот она сегодня умерла..."

\* \* \*

## ГОСТИ НЕЗДЕШНИХ ВЕЧЕРОВ

М а р и н а Ц в е т а е в а

*Я только что прочел Вашу статью Н е з д е ш н ы й в е ч е р и вспомнил статью об Андрее Белом П л е н н ы й д у х в другой книге С о в р е м е н н ы х З а п и с о к... Как это ценно и важно, какой глубокий памятный след оставляют эти Ваши прекрасные, взволнованные вещи... Меня охватило волнение Вашего Н е з д е ш н е г о В е ч е р а, и, независтливый, я завидую и Софии Исааковне, и Якову Львовичу — всем встречаю "нездешних вечеров", всем этим людям, их творчеству, дыханием которого я жил... Мне хотелось написать еще скупер: прочел, и стало нестерпимо жаль. И моя работа, моя одинокая битва...*

Посланное из Сан Франциско в начале октября 1936 года М. И. Цветаевой через редакцию С о в р е м е н н ы х З а п и с о к, это письмо лежало там недолго. Ответ пришел через две недели.

Два листа линованой бумаги, вырванные из тетради, голубые чернила, выпуклые буквы от пера с нажимом, изящный почерк, в котором

чувствуется сила.

Какой была тогда Марина Цветаева? Такой ли, как в начале двадцатых годов в Берлине: "Молодая, с гладкими стриженными волосами и челкой на лбу, скромно одетая — всегда в коричневом или темно-синем..." (Евг. Каннак, Воспоминания о Геликоне", "Русская Мысль", 17 янв. 1974)? Видишь ее и в стихотворении:

Есть в стане моем — офицерская прямоть,  
Есть в ребрах моих — офицерская честь.  
На всякую муку иду не упрямясь:  
Терпенье солдатское есть!

Как будто когда-то прикладом и сталью  
Мне выправили этот шаг.  
Недаром, недаром черкесская талья  
И тесный ременный кушак.

Ваня (Севя.) Франция  
65, Ж. В. Потэн  
25-го окт. 1936  
Суббота

### ПИСЬМО В ЗЕМЛЮ КОЛУМБА

— На такое письмо нельзя не отозваться: если бы я на такое письмо могла не отозваться, я бы не могла написать *Н е з д е ш н е г о В е ч е р а*, следовательно, такого письма — получить.

Если бы я могла Вам не ответить — Вы бы не могли мне написать. Такой отзвук — дороже дорогого. Рука через океан — что больше? Рада, сердечно рада и Вашей зависти, которая есть не зависть, а чистый восторг, чистейшее из чувств.

Еще одному рада, что Вы из *Н е з д е ш н е г о В е ч е р а* отметили не Кузьмина, не фигуры несхожих друзей (кто "Леня" — Вы наперное догадались: лицо и сторицеское и даже роковое)... а скромные, второстепенные, еле выведенные мною из уже вечного тумана фигуры моих дорогих редакторов, которые столько сделали добра писателям и особенно поэтам, и которых все забыли.

Вам спасибо — мы им позавидовали!

А теперь, после благодарности, просьба. Вы бы мне очень удружили, если бы — из Вашей колумбовой земли — на Вашем редакторском бланке (В! сейчас объясню) написали бы несколько удовлетворенных слов о моей прозе — *С о в р е м е н н ы м З а п и с к а м*. Каждый раз, когда посылаю свою прозу (да и стихи!) — мука настоящая. Здесь сократят, это уберут, это не относится к теме, то носит частный характер — там мне выбросили всю мать поэта Макса Волошина, выросшую на коленях пленного Шамиля, настоящую героиню романа, и, еще лучше, лес-

ковской повести, — там, например, пытались выключить (и только письмо из заграницы — а именно: Штутгарта, подписанное рядом лиц, подействовало) весь конец (конец поэты и конец вещи) моего Живого о живом (о М. Волошине), от последних слов поэты:—Стороните меня на самом высоком месте — до этих похорон его на головокружительном утесе в скале. Так, например, не взяли ("читателям неинтересно") мою встречу с Блоком, с собственноручной записью моей тогда шестилетней дочери о Блоке, — так и лежит вещь, никому не понадобившись, а была она (да и есть) ничуть не хуже П л е н н о г о Д у х а или Н е з д е ш н е г о В е ч е р а, а по теме (Блок) м. б. и покрупнее.

Дело в том (это совершенно между нами), что редакция С. З. состоит из общественных деятелей, о Максe Волошине, напр., Осипе Мандельштаме и т.д. от меня слышавших впервые, а Белого знающих по берлинским скандалам: иступленным его танцам, пьянству и т.д.

Ваш отзыв, как редактора, да еще из такого далека, м н е будет большим подспорьем. Я очень одинока в своей работе, близких друзей, верней — у нея (моей работы) среди писателей нет: для старух (Бунин, Зайцев и т.д.) я слишком н о в а (и сложна), для молодых — думаете: старая? — не-ет! слишком с и л ь н а (и проста). "Молодые" в большинстве — эстеты и воспевают неодушевленные предметы, либо — самый одушевленный из них — ч е л о в е к а превращают в неодушевленный предмет. Мне здесь (и здесь!) ни с кем не по дороге.

Мне, например, страшно хочется написать о Пушкине — Мой Пушкин — до-школьный, хрестоматический, тайком читанный, а дальше — юношеский — и т.д. — м о й Пушкин — через всю жизнь — Вы же знаете, как я пишу — но поймите: буду работать по крайней мере месяц, поет — Я работаю: всем существом, ни на что не глядя, а если и глядя — не видя — а могут не взять (как не взяли м о е г о Блока), а у меня же столько невзятых рукописей. Просто — руки опускаются.

Если бы Вы, например, посоветовали С.З. — в виде пожелания (да еще на б л а н к е, да еще на м а ш и н к е!) — "... Хорошо бы если бы Ц-ва написала о Пушкине". На них такие вещи (со стороны — да еще из другой страны — не говоря уже о другом материале) производят неотразимое впечатление.

Благодарность. Просьба. И — должно же быть третье, и оно есть — подарок, а именно: в С. Франциско наверно будет мой большой друг Владимир Иванович Лебедев, бывший редактор пражской "Воля России" (Он только что приехал в Нью Йорк, будет обвезжать обе Америки с рядом лекций). Я напишу ему о Вас, чтобы он Вас посетил, и он Вам обо мне расскажет, и — что лучше — сможет быть Вам очень полезен в Вашем журнале, как опытный, долгодетный, просвещенный ("Воля России" — единственное место в эмиграции, где меня не обижали!) редактор. Ныне он редактор сербского "Русского Архива" — русского ежемесячника на сербском языке в Белграде, где я тоже сотрудничаю.

И что еще проще — вот его адрес, напишите ему сами, пошлите журнал, пригласите побывать, когда будет в С. Франциско — и сошли-

тесть на меня. Дружу с ним с 1922 г., — моего приезда за границу. Человек он всячески редкостный.

И мне пришлите журнал: если не явно политический (я вне) с большой радостью буду участвовать, но до посылки Вам чего-нибудь хочу увидеть — и общий дух, и физические размеры. Напишите, если будете писать, и о гонимом (хорошее слово с х о р о ш и м корнем). Да и свое имя-отчество, пожалуйста.

Ну вот.

Вот и состоялось — рукопожатие через океан.

М. Цветаева

Пожелание Марины Цветаевой относительно обращения в С о в р е м е н н ы е З а п и с к и было исполнено немедленно. 16 декабря 1936г. пришло письмо от В.В. Руднева, редактора З а п и с о к:

Многоуважаемый г. Балакшин!

Спасибо на добром слове по адресу С о в р е м. З а п и с о к. 62-ю книжку, недавно вышедшую, посылаю. Буду рад увидеть 2-й выпуск Вашего журнала.

Цветаева в 63-й книжке С о в р е м. З а п и с о к даст, повидимо му, большой цикл стихов, посвященных Пушкину. Я не уверен, что о Пушкине она смогла бы дать столь же блестящую статью как о ряде своих современников.

.....

С пожеланием всего доброго,

Преданный Ваш

В. Руднев.

Кстати упомянуть несколько слов "о прозе Марины Цветаевой". (...Ский, Р у с с к а я М ы с л ь, 26 апр. 1973):

Поскольку последняя покончила самоубийством не здесь, а в Сов. Союзе — эмиграция спешит заглазить тот факт, что именно она ( в частности, с участием — см. письмо к Тесковой — одного из редакторов С о в р е м е н н ы х З а п и с о к связала и намылила поэтессе роковую петлю...

К. ПЕСТРОВО

П И С Ь М О

Шум равномерный...Шум далекий  
Растет в полночной тишине.  
Крик паровоза одинокий  
Тревогой ширится во мне.

Сияет неба свод высокий  
И Южный Крест, весь золотой!  
...Зачем пишу я эти строки  
Похолодевшею рукой?

Зачем слова тоски и муки,  
Едва написаны – мертвы?..  
Зачем прислушиваться к звукам  
Ночной враждебной синевы?..

В угрюмо-сонной улиц чаще  
Уже погасли фонари  
От быстро по-морю летящей,  
На крыльях розовых зари.

И всем лицом, – опять живая!  
Певучий ветер я ловлю.  
И быстро я письмо кончаю,

...То, что тебе я  
не пошлю...

\* \* \*

АРКАДИЙ ВИКТОРОВИЧ БЕЛИНКОВ  
(1921 – 1970)

*"Истинной мерой человеческой  
порядочности служат только  
любовь к свободе и ненависть  
к тирании."*

*А. Белинков*

Сколько за прошедшие полстолетия ушло из России служителей литературы, искусства и науки!.. Вначале не мнявших революцию, потом оказавшихся на Западе в хаосе Второй Мировой войны и теперь, попавших в категорию инакомыслящих или "инородцев".

Аркадий Белинков был вынужден бежать, так как ему грозила опасность стать "повторником": 13 лет своей жизни он уже ранее промучился за колючей проволокой на Севере и в ссылке в Казахстане. Он был один из тех, кто дорого заплатил за то, что не сдался: "... *я никогда не написал и строки, какая требовалась от благонамеренного советского писателя и никогда не считал себя верноподанным государству лжецов, тиранов, уголовных преступников и душителей свободы...*" (из его открытого письма Союзу сов. писателей в июле 1968 г. уже на Западе).

Неприятие революции Буниным и его поколением в Советском Союзе все эти годы объясняли их происхождением – помещичьим, дворянским или буржуазным. Судя по году и месту рождения А. Белинкова (1921, Москва), он в четыре года, наверно, повторял, что его детство самое счастливое, в тринадцать – заучивал, что общество, в котором он живет, самое справедливое, а в институте слушал лекции о том, что его правительство самое демократичное и мудрое.

Но вот студент литературного института имени Горького при Союзе советских писателей Аркадий Белинков пишет роман "Черновик чувств", в котором по-своему видит роль своего правительства в катастрофе Второй мировой войны.

Роман был написан так, что сразу захватывал читателей, в эти годы мучившихся над вопросом "как могло случиться?.." – и получил довольно широкое распространение в рукописи наподобие современного самиздата.

Конец нам известен: арест в начале 1944 года, следствие с "при-

менением строжайше запрещенных методов", смертный приговор, замененный лагерем Северного Казахстана.

Но Аркадий Белинков далек от раскаяния. Пером, еще более заостренным страданиями, он пишет "Антифашистский роман", "Утопический роман", "Алепаульскую элегию", В "награду" он получает еще 25 лет заточения, а потом этап в инвалидный лагерь для умирающих.

В 1956 году – после 13 лет! – приходит освобождение.

В 1960 – в издательстве "Советский писатель" выходит его книга "Юрий Тынянов". В 1961 – автор единогласно принят в СП СССР.

В 1965 – выходит второе издание книги. Она становится известной в странах Восточной Европы, доходит до США, Англии, Италии и получает положительные рецензии в Новом мире, Вопросах литературы, Литературной газете и даже в Чосковском комсомольце (очевидно, по недосмотру цензуры). В 1968 году журнал "Байкал" помещает отрывки из новой книги Аркадия Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша." Это вызывает травлю писателя.

Летом 1968 года он становится эмигрантом. В США работает в Ейльском университете, читает лекции в Индианском, разъезжает по стране с лекциями, несмотря на слабое здоровье.

Он говорит и пишет о взаимоотношении личности и тоталитарного государства, читает лекции о Солженицыне, предугадывая, что только мировая слава может спасти замечательного писателя от преследования в СССР.

У него, как у всех приезжающих на Запад, были большие планы. Он собирался издать трилогию на английском языке о трех позициях писателя в тоталитарной стране – лойяльной (Тынянов), капитулянтской (Олеша), позиции сопротивления (Солженицын). Книгу о Солженицыне он не успел написать.

Смерть от инфаркта 14 мая 1970 года отняла у русской литературы Аркадия Белинкова, блестящего литературоведа, писателя и публициста, который оказал большое влияние на советскую современную литературу.

Вот свидетельство одного из его читателей, теперь проживающих вне Советского Союза: *Это было неслыханно смело и восхитительно нагло. Советская печать опубликовала "самиздат". Ю р и й Т ы н я н о в вышел вторым, переработанным, дополненным и еще более "самиздатским" изданием. Произошло чудо – цензура не сумела прочитать то, что было написано черным по белому, не между строк, в самих строках. Книга Белинкова, как бомба замедленного действия, передавалась из рук в руки, жила среди нас, зачитывалась до дыр, открывала новые пути творчества... Искусство подтекста, умение "протасить" в подцензурную печать самые крайние мысли; литературное мастерство, позволяющее любой исторический... эпизод превратить в злободневное, острое, сегодняшнее разоблачение – всё это родилось... в книгах Белинкова (Ю. Китаевич, НРС, 14 мая, 1975 года).*

Вспоминаются слова Пушкина: "Радищев, рабства враг, цензуры изжегал..." Аркадию Белинкову удалось обмануть советского цензора: чем злее автор клеймит царей — тем лучше, подумал тот, вероятно, не подозревая, что сила и страстность обличительного слова Белинкова, блеск и острота его иронии и белый накал ненависти к тирании — всё это было порождено пороками современной ему действительности и отталкиванием от нее.

Чтобы добиться издания своих книг и так донести свои мысли до широкого круга читателей, которые (он знал и не ошибся!) поймут, о ком он говорит — А. Белинков вынужден был воспользоваться советской интерпретацией событий русской истории. А потом, усыпив бдительность цензора, он не раз прямо или косвенно выражал свое истинное мнение о прошлом веке: *То, что написал Тынянов, не было исчерпывающей исторической правдой, потому что он ни о чем, кроме роковой власти самодержавной монархии не сказал. Это было ошибкой, потому что если согласиться с Тыняновым, то понять каким же образом в этой самодержавной монархии могла возникнуть одна из самых замечательных литератур мира — невозможно* ("Ю. Т.")

Об эмигрантской литературе Аркадий Белинков говорит, прикрываясь примером Германии: *Тягчайшая реакция может раздавить национальную культуру... сопротивление которой имеет предел... Рядом с подлой литературой рейха существовала замечательная литература эмигрантов... Томаса и Генриха Маннов, Стефана Цвейга, Бруно Франка. До нее не дотянулись руки, и она осталась. А до своей в рейхе дотянулись, и она погибла.* ("Ю. Т." стр. 369, 2-е изд.)

Полемизируя с Тыняновым о взаимоотношении искусства и революции, А. Белинков идет гораздо дальше прозрачного сравнения:

*...Тынянов ошибся, распространив на все века и на все континенты закон умирания искусства в связи с поражением революции. Он ошибся, не заметив, что о б ы к н о в е н ы е неблагоприятные условия еще не в состоянии помешать явиться Лирике Катулла, "Освобождению Ерусалима" и "Мертвым душам". Вот когда неблагоприятные условия достигают степени безраздельной победы самодержавной власти тогда искусство испускает последний вздох и вместо него начинают производиться в громадном количестве оратории шовинизма и хоралы хвалы, рвущиеся от самого сердца".*

А вот уже совсем открытая атака на современного советского писателя М. Шолохова: *... бесплодны попытки пресечь, запретить, обуздать поиск художника в эпохи литературной опричнины... он неостановим и неминуем, и его не может прервать даже авторитет истинного писателя предшествующей эпохи, а не какой-нибудь бывший писатель, награжденный авторитетом и ставший пугалом, вандеец, казак, драбант городской русской литературы...* (Ю.Т. стр. 56, 2-е изд.)

Невозможно здесь перечислить все примеры смелости и изобретательности А. Белинкова в его попытках публикации крамольных мыслей. Он говорил, что самое трудное не написать книгу, а опубликовать

ее. Он в своем творчестве затрагивает множество тем, как напр.: исторический роман, ответственность личности перед будущими поколениями, право художника на изображение темных сторон жизни, как в настоящем, так и в прошлом страны...

Но ценность трудов А. Белинкова не только в богатстве тем, но и в том, как он их разрабатывает: как бы играя историей, аллегорией и метафорой", он достигает в этом такого мастерства, что его научные книги можно читать и перечитывать как художественную литературу, наслаждаясь блеском мыслей и радугой эмоций в строках — от иронии всевозможных оттенков до убийственного презрения. Не случайно его книгу об Олеше в Советском союзе называли "литературоведческим романом". Кстати, выход в свет этой книги подготовленной вдовой писателя, ожидается в конце этого года.

Меня могут обвинить в предвзятости, т. к. я не цитировала того, что на Западе, где нет надобности изобретать специальный язык для критики общества, было понято в буквальном смысле и вызвало довольно резкие возражения в некоторых кругах эмиграции.

Можно понять, что нам читателям-эмигрантам больно читать страстные, бичующие "самодержавие" строки в зашифрованной художественной прозе А. Белинкова. И не только потому, что, сохранив в своих воспоминаниях неизбывную любовь к России, мы склонны несколько идеализировать прошлое; но и потому, что история России уже давно вызвала во всем мире переоценку "пороков" монархической России.

Это, конечно, знал и Аркадий Белинков, как и все мыслящие люди его поколения в России. Говоря об этом, нельзя не задуматься над парадоксом: советский читатель, которому с детства рисовали русскую историю в самых мрачных тонах, читая книги А. Белинкова "не узнал" в тиранах Ивана Грозного или Павла Первого, а сразу догадался, что речь идет о современной ему тирании. Этот читатель понял, что автор с презрением говорит о пресмыкательстве, лже-патриотизме, бесхребетности и продажности не старой русской — а новой, советской интеллигенции.

Являясь органической частью этой интеллигенции, преодолевая свойственные ей отрицательные качества, читатель "зачитывает до дыр" сохранившиеся книги смелого писателя, не обижаясь на него за правду, принимая ее как точный диагноз врача, который может помочь оздоровлению общества будущей России

Но ведь в этом оздоровлении заинтересованы в равной степени и мы, зарубежные читатели. Знакомые с русской историей не по советским учебникам, мы, казалось бы, должны быть гораздо прозорливее советского читателя и помнить, что прошлое не стало хуже от того, что А. Белинков вынужден был "пожертвовать" этим прошлым в своем желании воздействовать на общество для его же пользы.

Это, конечно, не значит, что мы должны считать непреложной истиной всё, что он написал о России, прошлой, сегодняшней и будущей. Его теория преемственности пороков от Ивана Грозного до Иосифа

Сталина таит в себе противоречия и, как мне кажется, не совместима с его верой в другую Россию, без тирании.

Если согласиться, что всё исторически закономерно, включая замену "самой реакционной монархии в Европе самой реакционной диктатурой в мире" — то эпоха Сталина должна была породить еще более страшное чудовище; если народ обладает "врожденным свойством порождать злодеев" — то есть ли смысл бороться с этой наследственной (неизлечимой) болезнью?..

Между тем, Аркадий Белинков, несмотря на все бичующие строки, посвященные народу и интеллигенции своей страны, убежден, что "интеллигенция России жива, борется, не продается, не сдается..у нее есть силы." Откуда же у нее все эти качества? Корни-то ее в "стране рабов", нельзя не спросить себя... К этой же интеллигенции он с верой обращается в заключение своего письма Союзу Советских писателей (НРС, 20.7.1968)

*"... Художники и ученые этой замученной, задержанной страны, все, кто сохранил достоинство и порядочность, придите в себя, вспомните, что вы писатели великой литературы, а не официанты сгнившего режима, бросьте в лицо им свои писательские билеты, возьмите свои рукописи из их издательства, перестаньте участвовать в их планомерном и злонамеренном разрушении личности, презирайте их, презирайте их безларное и шумное, бьющее в неумолкаемый барабан побед и успехов бесплодное и беспощадное государство!"*

Взрывы горячи и отчаяния, неизбежные в свете перенесенных им испытаний, не всеми были поняты. А. Белинков болел Россией, как болели ею Пушкин и Лермонтов... Глубоко потрясают слова, которыми он выразил свои чувства в час разлуки с ней:

*"... Уходила, убывала, таяла земля великой России, гениальной страны, необъятной тьбрымы... Я десять раз видел смерть... В меня стреляли из пистолета на следствии. По мне били из автомата в штапе. Мина под новым Ерусалимом выбросила меня из траншеи... в больнице ... Песчаного лагеря меня положили в штабель с замерзшими трупами, я видел, как убивают людей с самолетов, как убивают из пушек... Но ничего страшнее этого прощания мне не пришлось пережить..."*

Мне кажется, что так чувствовать может только человек, беспредельно любящий страну, которую покидает против своей воли.

Творчество Аркадия Белинкова еще ждет своего исследователя, а труды его — беспристрастного издателя. Хочется надеяться, что ими будут люди, для которых его книги в Советском Союзе были радостным сигналом раскрепощения духа, признаком того, что интеллигенция России не сдалась.

## ЕВГЕНИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ

### *Ю. Крузенштерн-Петерец*

Еще Петром одетая в гранит,  
Она, как прежде, строго величава  
И царская, роскошная оправка  
Ее от бурь и времени хранит.

Как в зеркале серебрянного сплава  
Она спокойно в водах отразит  
И неба предзакатный малахит,  
И старины блистательную славу.

И символов неясных полны  
Державный плеск и бархатные волны,  
Мосты и арки, крепость, острова...

Они, как встарь, о будущем пророчат  
И снится мне далекая Нева  
В накидке белой петербургской ночи.

## ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

Еще звенело в трубах водосточных,  
Но в сумрак солнце прорвалось – и вдруг  
На хмуром небе и холмах восточных  
Встал радуги нежнейший полукруг.

Небесные ворота. Приглашение  
В покой вечерний, влажно-золотой,  
Где светит нам смиренным утешеньем  
Печаль и чудо жизни прожитой.

\* \* \*

СКВОЗЬ ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ ЗОЛОТОЙ  
(читая стихи Ирины Одоевцевой).

Ожидание радости — уже радость, но может ли это сравниться с *неожиданной* радостью встречи, которую вообще — то *ждешь*? Именно такой, несколько сумбурной "формулой чувства" хочется передать ощущение от знакомства со стихами Ирины Одоевцевой — запоздалого знакомства русского человека, только что вырванного на Запад, с большим поэтом русского Зарубежья. "Железный занавес", отделяющий СССР от остального мира, в сфере культуры не менее прочен, чем в политической области. Неудивительно поэтому, что всё, создаваемое на Западе русскими литераторами, лишь клочковатыми вспышками озарения проникает в сердца и мысли тех, кто (вольно или невольно) именуются "советскими читателями". Попадая в свободный мир, такие люди чувствуют особый подъем, соприкасаясь с духовными ценностями, о которых порой не могли даже помыслить — не то что порассуждать.

Имя Ирины Одоевцевой в принципе было известно давно. Но живое общение с ее творчеством — это удел только западного русского читателя. Только он может в полной мере оценить значение ее литературной деятельности; правильно понять роль ее книг как связующего звена между завоеваниями культуры "серебряного века" русской поэзии и нынешней, кишасей противоречиями, болезненной, но и впечатляющей эпохой. В этом плане название последнего сборника Ирины Одоевцевой "Златая цепь" — особо оправданно. Ее поэзия — действительно — "цепь золотая", многое в русской традиции связующая и крепящая. Быть равно созвучной по духу сначала Гумилеву и Цветаевой, а затем (при всем своеобразии, конечно) поэтическому времени Галича и Бродского — одно это уже свидетельствует о масштабности художественного видения, помноженного на огромный жизненный опыт. Конечно, западному русскому читателю, который мог следить за всей эволюцией творческих поисков поэта, за красочным разворачиванием всех звеньев "златой цепи" ее поэзии, куда легче, нежели человеку, прибывшему "оттуда", выработать себе по — настоящему глубокое и детализированное мнение о стихах Ирины Одоевцевой. Но и в оценке только что воспринявшего ее поэзию человека, в свежем — пусть даже несколько "остра-ненном" — взгляде, есть свое преимущество. Именно это преимущество лежит в основании высказываемых здесь мыслей.

"...Я в жизни совсем другая, чем в стихах", — призналась Ири-

на Одоевцева в одном из стихотворений 1967 года. Думается, что это признание обладает весомостью, но и условностью поэтической тезы. Ясно, что тонкие, с блесками формального изыска, стихи "Златой цепи" или "Одиночества" могли быть написаны лишь тонко чувствующим человеком. Но и очевидно в то же время, что между восприятиями жизни человека и поэта есть существенная разница. Плохо, если разница эта доходит до стадии полного разрыва. Но и абсолютное совпадение здесь нежелательно: жизнь, поглотившая поэзию полностью, столь же непоэтична, как и безжизненна. поэзия, игнорирующая саму жизнь. Нужна некоторая дисгармоничность между бытием поэта и человека: некоторый второй план, когда личность угадывается за стихами, не заслоняя их, и когда стихи не подавляют полностью личность. Таким счастливым качеством обладает, на наш взгляд, Ирина Одоевцева.

Общий колорит ее стихов мажорным не назовешь. Но это и не грусть беспредельная. Скорее всего здесь можно говорить о "героическом пессимизме" – мироощущении очень современном, даже если лад и настрой многих стихов И.Одоевцевой нельзя считать ультра – современными, и ее "модернистская" в целом манера поэзии тяготеет не к авангардистским новациям, а к своего рода "классике модернизма". В результате ощущение созвучности стихов её духу человека наших дней создается прежде всего не формальным строем стихотехники, а о ф о р м л е н и е м тональности и с о д е р ж а т е л ь н о с т и поэтической речи. Это легко подтвердить многими примерами. Сошлемся на один из характернейших.

Для читателя, знакомого с современной советской поэзией, стихотворение И.Одоевцевой "Антитеза" вряд ли покажется чересчур дерзким с точки зрения образной структуры и ритмических колебаний. Андрей Вознесенский со своими "Антимирами" делает всё это похлеще и вроде бы "авангарднее". Но в том-то и дело, что если Вознесенский как бы фиксирует свою мысль в конструированной им образности ради ее самой, то Одоевцева, как бы отходя от своих же образов, погружает их в поток мысли, иронической и лиричной одновременно, "Мне кажется, я ироник С лиризмом порой больным", – сказал когда-то о себе по сходному поводу Игорь Северянин. И если "модерность" многих "антиконтрастов" Вознесенского очень уж отдает стилизацией под футуризм начала века, то Одоевцева – поэт, родившийся именно "в начале века", оказывается современной по духу за счет умения не просто конструировать образы, даже не просто "мыслить образами", а, делая всё это, мыслить н а д о б р а з н о еще и с в е р х э т о г о. Мыслить, как говорит она сама:

*"В порыве яростного вдохновения  
Парапсихического откровения."*

В наше время поэзия такого мыслительного накала одна только и может считаться истинно современной. Всё остальное – стилистика.

Коль скоро провели мы невольно параллель между стихами Ирины

Одоевцевой и Андрея Вознесенского, нельзя не указать также на определенное совпадение творческой мысли автора "Златой цепи" с поэзией другого видного поэта современности — Леонида Мартынова. Интеллектуализм и ритмическое своеобразие в данном случае — сближающие начала. Даже мотив "Лукоморья" роднит поэзию этих авторов. Но, конечно, интересней всего не отдельные совпадения, а то, что приходится говорить о высоком интеллектуальном уровне стихов Ирины Одоевцевой, которые, оставаясь глубоко русскими в основе своей, вместе с тем вбирают в себя высокое дыхание раздумий о жизни, человеческом предназначении, искусстве, и держатся (как и лучшие стихи Леонида Мартынова) на торжественно-приподнятой, почти "библейской" интонации.

Случаи творческого соприкосновения стихов И. Одоевцевой с отдельными произведениями советских поэтов отметить тем полезней, что здесь речь идет, разумеется, не о каком-то "идеологическом" тождестве, а о проявлениях в поэзии того общечеловеческого начала страстей, мыслей и лиризма, которые составляют суть настоящей литературы вне зависимости от идеологических барьеров.

Одной из примет поэтического творчества Ирины Одоевцевой является тема скитания. В ней особенно сильно и красиво дает знать о себе "героический пессимизм" жизнеощущения поэта. С одной стороны — естественные жалобы на "чужую сторону" и "бесовскую тоску"; с другой — мудрое постижение смысла борьбы житейских коллизий, чреватых в конце концов победностью духа над переходящими обстоятельствами:

*Ты видишь там, в ночи,  
В апофеозе неба,  
Скрестились, как мечи,  
Победные лучи.*

И когда в финале цитируемого здесь стихотворения звучит призыв: "Играй зарю, трубач!", то он — этот призыв — отнюдь не кажется диссонансом в общем контексте стихотворных строк. Он естествен так же, как завершение в аккорде щемящей ноты сольного звучания; как равно заблиставшие под солнцем и росинка дождевая, и слеза человеческая — их роднит меж собою блеск солнечный — сам сродни свету поэзии, пусть даже поэзии "сумеречной" или "ночной", но, тем не менее, предвещающей и "зарю", и "трубача", играющего "зорю".

Такого рода просветленность в стихах Ирины Одоевцевой — устойчивый признак. Видимо, недаром в стихотворении, которое датировано внушительным интервалом временного свойства величиной с целую эпоху (1920 — 1960 гг.) и которое несет на себе печать грустного раздумья, все — таки, несмотря на эту грусть, луна — вечный и естественнейший "спутник" земных раздумий — "поет на светлой ноте". В другом стихотворении (1971 года) финал оборачивается улыбчиво — светлым признанием, что:

*...наперекор всему  
Сама не понимая почему –  
Я продолжаю улыбаться  
И в праздник будни превращать .*

И, наконец, в том же ключе звучит концовка в стихотворении "Волшебная, воздушная весна", где прямо декларируется:

*Я на земле всегда была изгнанницей,  
Бездомной босоножкой – странницей,  
Ходившей – весело – по мукам.*

Это веселое "хождение по мукам" в высшей степени характерно для стихов, где сочетание мотивов грусти и просветленной веры в жизнь вопреки всему тоскливому и страшному, создает своеобразное очарование полутонов, помноженное на чуткую зрелость и зримость жизненной позиции поэта.

"Златая цепь" Ирины Одоевцевой крепка и единением ее золотых звеньев и звонкой твердостью каждого в отдельности звена. Признавая важность стихов, написанных в 50-е – 70 годы века, следует особо отметить уже почти классическую значимость стихотворений, которые группируются в разделе сборника под названием: "В те баснословные года..." Это стихи Ирины Одоевцевой времен ее литературного дебюта в России. Тогда она была ученицей Гумилева; тогда, "на берегах Невы", (о чем с такой пленительной ясностью рассказала она в своих мемуарах) рождались первые ее баллады и стихотворные медитации. "Все мне было удача, забава И звездой путеводной – судьба", – скажет она позднее об этой – исходной для нее – поре жизни. И опять – таки приходится вносить поправки реалий бытия в поэтический тезис воспоминаний о юности. "Удачи", действительно, были – чего стоит встреча и общение с великим поэтом Гумилевым! Но и насколько же трагичней все выглядело под светом "путеводной звезды" двадцатых годов, чем можно бы судить по изящной мемуарности стихов о "Петербурге над синей Невой" – стихов, написанных из "прекрасного далека" Запада и из другого отдаления – временной дальности последующих лет! Реальный, расстрелянный большевиками Гумилев, память о нем, – вот истинно могучий образ, связующий все стихи И.Одоевцевой "баснословных" двадцатых годов, – будь то прямые обращения к лику ее гениального учителя, или балладная строгость более "объективистских" ее стихов-строгость, все равно навеянная Гумилевым, даже если порой (как в случае с "Балладой о толченом стекле") и можно говорить об известном "противостоянии" гумилевскому примеру.

Конечно, в стихах Ирины Одоевцевой чувствуется определенная эволюция в восприятии ею образа Гумилева: от полного растворения ("Я исчезла. Я – стихотворенье, посвященное Вам") до более "объект-

ного" его изображения, как, например, в балладе 1923 года ("На пустынной Преображенской Снег кружился и ветер выл"). Но чувство любви и восхищения им — человеком и поэтом, остается везде благороднейшей доминантой.

Об этом думается с особой признательностью, когда вспоминаешь о том, какой искусственный "заговор молчания" устроен был вокруг имени Гумилева в Советском Союзе (в свое время краткая заметка в "Литературной Энциклопедии"— за подписью А. Синаевского, да включение нескольких гумилевских стихов в "Хрестоматию по русской литературе XX века" воспринимались в среде интеллигенции чуть ли не как эпохальная вежа). Между тем, Гумилева любят: автор этих строк помнит, как говорили и спорили о нем в советском политическом лагере 50-60-х годов; с каким восторгом встречалось всегда упоминание его имени в студенческих аудиториях; в скольких списках кочевали и кочуют до сих пор по России его "Капитаны" и "Заблудившийся трамвай". Поэтому воссозданный стихами Одоевцевой образ Гумилева крепит одно из главных звеньев живой традиции русской классики, ее заветов, ее страдальчески-прекрасных героев. Можно без преувеличения сказать, что "гумилевские" стихи, Одоевцевой, а также ее воспоминания о поэте в книге "На берегах Невы", есть воистину литературный подвиг.

Да и в целом "Златая цепь" — это небольшая БОЛЬШАЯ книга. Она в равной степени жизнерадостна и "литературна" в смысле того хорошего (отнюдь не обидного, как иногда полагают некоторые "почвенники") уровня к н и ж н о с т и, который дается культурой чувства и просто культурой как таковой.

В творчестве Ирины Одоевцевой, разумеется, есть много различных аспектов и срезов: только пунктирно намеченных и более явственных тенденций, о коих следует говорить особо и обстоятельно. Самое общее впечатление сводится, в данном случае, к мысли о том, что она как поэт развивалась в сторону большей субъективности в лирике сравнительно с ее ранними и более "внешними" по форме стихотворениями. Хорошо известно также, что —тяготея к субъективному началу в творчестве, к поэтической миниатюре, — она может умело выступить на стезе противоположной, казалось бы, творческой манеры: в качестве мастера сюжетно развернутых и объемных произведений типа ее прекрасного романа — "Оставь надежду навсегда".

Всё это вместе взятое подсказывает необходимость детального — на монографическом уровне — изучения в с е г о творчества Ирины Одоевцевой. Задача эта не может быть, разумеется, решена в рамках небольшой статьи. К тому же нам известно, что ожидается появление ее новой книги "На берегах Сены", должной стать достойным продолжением "невских мемуаров", историко-литературная значимость которых совершенно бесспорна. На страницах "Современника" и других органов русской зарубежной прессы уже печатались отрывки из будущей книги, так что не приходится сомневаться в ее высоком уровне:

полезности для русского (впрочем, не только русского!) читателя.

Настоящие заметки не претендуют на то, чтобы стать чем-либо большим, нежели "отклик души" на первое – для автора этих строк – знакомство с произведениями Ирины Одоевцевой. В будущем это знакомство – Дай Бог! – будет продолжено в плане более углубленного анализа и последующих встреч с таким примечательным явлением русской литературы, как творчество автора "Златой цепи".

## СЕРГЕЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Всё мимолетней, всё быстрее  
Бегут оставшиеся годы,  
Все чаще призрак непогоды  
Встает у дрогнувших дверей,  
Всё чаще гаснут в доме свечи,  
Все чаще тонет сад в снегу –  
Но день последней нашей встречи  
Предугадать я не могу.

\* \* \*

"БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ" А.СОЛЖЕНИЦЫНА

Свою последнюю книгу "Бодался теленок с дубом" (Изд-во ИМКА Пресс, 1975) А.Солженицын определил как произведение "вторичной литературы: литературы о литературе". Как и следовало ожидать при издании нового произведения Солженицына, появилось много откликов, которые, кажется, все были положительными. Мне, например, хорошо запомнилась оценка "Теленка", сделанная проф. Глебом Струве, назвавшим книгу лучшей вещью автора.

Похвально подчеркнуты были рецензентами и критиками особенно два момента в книге: исключительный по своей полноте, глубине и человечности портрет А.Т.Твардовского, поэта и главного редактора Нового Мира и затем — прямо-таки геройская и в конце концов (думает ли так сам автор или нет) победная борьба А.Солженицына с советской властью. Рецензенты и критики, конечно, правы: действительно это очень яркие и одновременно важные моменты в новой книге Солженицына.

Читателю становится ясным, что не окажи Твардовский (убежденный коммунист и в то время член ЦК КПСС) в решительный момент помощи бывшему эзку Солженицыну, причем не по политическим или каким другим оппортунистическим мотивам, а потому, что он сумел узнать в нем и полюбить исключительно талантливого художника, нужного — как всякий большой художник — народу и стране больше, чем вся партия и ее идеология.— Солженицын и по сей день, может быть, писал бы себе, сидя тихохонько в Рязани, в с т о л, вместо того, чтобы расшевеливать умы и души миллионов читателей во всем мире своими произведениями. И легендарная борьба Солженицына с властью, т.е. с КГБ, которую он показал и объяснил в "Теленке" опять-таки всему миру, не только стала примером, вдохновляющим тех, кто решится ему последовать, — борьба писателя изменила уже в каком-то смысле соотношение общественных сил в Советском Союзе.

Значение книги "Бодался теленок с дубом" выходит за пределы чисто мемуарной литературы. Она, я думаю, сыграет, вместе с "Архипелагом ГУЛАГ", большую роль в развитии современного русского литературного языка. Я постараюсь кратко сделать несколько замечаний в подтверждение этого мнения.

Итак, "Теленок" — книга литературных мемуаров. В этом жанре Солженицын пишет впервые. А это — свободный жанр. Давления традиции, которое каждый писатель очень сильно чувствует, когда он пишет, например, роман, в мемуарном жанре почти нет. Это и позволило Солженицыну, я думаю, написать всю эту книгу тем *своим* языком, который в предыдущих его произведениях от времени до времени проблескивал, но до "Теленка", кажется, не выявился в полной своей силе. Поста-

раюсь объяснить, что я хочу сказать, т.к. это утверждение может показаться слишком сильным.

После появления в печати в 1962 и 1963 гг. четырех рассказов новое звучание солженицынского языка, по сравнению с бездушным казенным языком современной советской литературы тотчас же обратило на себя внимание. Упоминали об этом почти все рецензенты, но разбора и последующего определения этого нового языка они не дали. Первой научной работой о языке Солженицына была прекрасная статья Т. Винокур в "Вопросах культуры речи" за 1965 год. Проф. Л.Д.Ржевский и проф. Р.В.Плетнев в своих книгах о творчестве Солженицына тоже посвятили языку его произведений немало замечаний, которые – у одного в большей, а у другого в меньшей мере, – безусловно ценны и интересны. В четырех упомянутых выше рассказах мы имеем дело в основном не с языком собственно автора-Солженицына, а с языком солженицынского рассказчика, т.е. фиктивного лица, созданного автором. Это чувствуется особенно сильно в "Одном дне...", написанном сказом, т.е. вполне искусственным, специально и уникально для данного рассказа созданным языком. (Солженицын тут блестяще использовал метод художественного преломления языка, который первым ввел в русскую литературу, по мнению большинства специалистов, Гоголь, и который был затем с такими прекрасными результатами использован Лесковым, Ремизовым, Андреем Белым, Замятиным и Зощенко). В "Матренином дворе" тоже очень сильно чувствуется рассказчик-повествователь, кого не следует смешивать с автором, хотя ему автор и присвоил некоторые свои биографические черты. В рассказе "Для пользы дела" мы находим, по-моему, попытку воспроизвести язык так называемой советской интеллигенции (в данном случае, преподавателей и учеников провинциального техникума). Только в "Случае на станции Кречетовка" и специфически в тех местах рассказа, где выступает с описаниями и рассуждениями-оценками *всеведущий автор*, слышится голос автора-Солженицына, говорящего своим языком. Этот же голос (и язык) слышны в "Захаре-Калите", рассказе-очерке, напечатанном в "Новом мире" за январь 1966 года, где рассказчик и автор – одно лицо. Из остальных художественных произведений Солженицына собственно авторская речь выявляется сильнее всего в "Августе четырнадцатого", особенно в таких *авторских отступлениях*, как экранные главы, описания и рассуждения-оценки. В пьесах, естественно, все, что мы слышим со сцены – это голоса (язык) действующих лиц-персонажей.

Интересны остальные большие вещи – "Раковый корпус", который Солженицын определяет в "Теленке" как повесть, и роман "В круге первом". "Раковый корпус", как, кажется, первым заметил проф. Н.В. Первушин, – наиболее полифоничное произведение Солженицына: автор как бы остается за пределами своего произведения, предоставляя отдельным героям свободу не только говорить, что и как они хотят или могут, но и давая им возможность самостоятельно думать, рассуждать и сомневаться, делать оценки (т.е. он пользуется так называемым вну:

ренным диалогом в разных его формах). Другими словами, в "Раковом корпусе" голос собственно автора—Солженицына отсутствует; дана лишь сумма голосов персонажей, которая и дает возможность читателю сделать заключения об идейной направленности повести в целом, т.е. о той основной мысли, которую автор хочет ему передать. Автор же сам никаких заключений не высказывает и поэтому не может быть обвинен, по крайней мере формально, в пропагандировании каких бы то ни было идей или философий. (Мне думается — после прочтения "Теленка", — что эта особая форма "Ракового корпуса" возникла как результат желания автора опубликовать повесть в Советском Союзе; в итоге родилось полифоническое произведение, по своей форме, пожалуй, самое чистое в русской литературе). В романе "В круге первом" писатель принявший на себя роль всезнающего автора, так занят переплетением судеб и столкновениями личностей своих персонажей, что у него нет времени индивидуализировать свой голос, который на протяжении всего произведения сохраняет свою *безличную* нейтральность. Кажется, только один единственный раз, в главе 85-ой, говоря о погрузке эзков в этапные вагоны, прорывается горький голос автора—Солженицына в упреке, брошенном перепуганному читателю: "Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях, — но спешили трусливо потупиться, верноподданно отвернуться..." И потому, что это единственный случай, когда автор изменяет принятой на себя роли бесстрастного наблюдателя, слова эти действуют, как взорвавшаяся бомба на не ожидающего такого выпада читателя; действуют — не побоюсь сравнить — с такою же силою, как знаменитые своей патетичностью слова Акакия Акакиевича — "Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?" — в гоголевской "Шинели".

Но совсем другим языком пользуется Солженицын, когда он пишет такие публицистические произведения, как "Ответ трем студентам", Нобелевская речь, "Жить не по лжи", "Письмо вождям" и т.д. Сюда я также отношу отчасти "Правую кисть" и замечательный "Пасхальный крестный ход" — художественный рассказ с явно публицистической задачей, с желанием прямо, односмысленно и сокрушительно воздействовать на читателя.

В книге "Бодался теленок с дубом" солженицынский язык проявился, как и в "Архипелаге ГУЛАГ", в чистейшей своей форме. Здесь не место давать полный разбор этого языка; для этого нужно особое большое исследование. Скажу лишь, что особенность этого языка заключается не столько в идиосинкратическом словаре (хотя именно на него и было до сих пор обращено больше всего внимания), сколько в своеобразном, *не-стандартном* синтаксисе. Синтаксическая эллиптичность и оригинальная *игра* подчиненностью, сложно-подчиненностью и *не-подчиненностью* предложений являются самой яркой чертой этого языка; они дают ему ту гибкость, выразительность и особую *напевность*, которые его характеризуют. Вот, к примеру, как "насыщен" один только абзац Солженицына — вступительный — к главе "На поверхности":

"Как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному многоатмосферному внешнему давлению, — всплыв на поверхность, гибнет от недостатка давления, оттого, что слишком стало легко и она не может приспособиться, — так и я, пятнадцать лет благорассудно затаенный в глубинах лагеря, ссылки, подполья, никогда себя не открыв, никогда не допустив ни одной заметной ошибки в человеке или в деле, — выплыв на поверхность внезапной известности, чрезмерной многотрубной славы (у нас и ругать, и хвалить — все через край), стал делать промах за промахом, совсем не понимая своего нового положения и новых возможностей."

Язык Солженицына очень далек от краткости, ясности и точности пушкинского стиля, который в русском литературоведении принято считать стандартом литературного языка (стандартом, которым, однако, ни один большой писатель после Пушкина не пользовался: все они, даже Тургенев, оказались под гораздо более сильным влиянием языка Гоголя). Тем не менее солженицынский язык оказывается не только предельно точным для выражения авторской мысли, но и производит то глубокое впечатление на читателя, которого автор добивается; в нем выявляется захватывающая динамичность, выражающаяся скорее тактом, чем ритмом, и которую я бы образно сравнил с ударами в определенный момент по читательскому сознанию. Здесь можно было бы дать много примеров. Ну вот, хоть один из них: восприятие Солженицыным вести о болезни и смерти Твардовского:

"Рак — это рок всех отдающихся жгучему желчному обиженному подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие уже у нас: после общественного разгрома, смотришь — и умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнется... — скажем, д у х. Лишь выдающееся здоровье Твардовского при всех коновальских ошибках кремлевских врачей дает ему еще много месяцев жизни, хоть и на одре.

Есть много способов убить поэта.

Твардовского убили тем, что отняли "Новый мир".

Я не утверждаю, что Солженицын сплошь ломает синтаксис (т.е. создает свой собственный). Если б так было, то нельзя было бы понять, что он пишет. Нет, *игра* с синтаксисом — только один, хотя, по-моему, и важнейший из солженицынских приемов. Но важны также, например, и необыкновенный порядок слов, и повторы, и употребление скобок, и *неполные вопросы* (когда часть сложного предложения утвердительная, а часть — вопросительная) и т.п.

Так каков же, в конце концов, новый язык Солженицына? (Раньше сказали бы "стиль", но теперь этот термин не в милости у специалистов). Это — литературный язык, который подражает разговорному своей свободой в обращении с фразой (т.е. с группой слов или предложением). Разговорный язык, в отличие от литературного, не обязан опираться на логическое, рациональное построение, чтобы точно передать

мысль; ему помогают передать желаемый смысл выражение лица говорящего, его жесты и интонация, которые одновременно также и заряжают сказанное эмоционально (что очень трудно сделать строго, *по правилам*, организованному литературному языку), и этим оживляют смысл, делая его более *доходчивым*. В создании у читателя иллюзии, что он воспринимает не напечатанные слова, а живую речь автора и заключается, по-моему, оригинальность солженицынского языка. Своеобразная напевность придает этому языку тот характер, который позволяет нам сразу же узнать его (в сборнике "Из-под глыб", например, статьи Солженицына узнаются сейчас же "на слух"). Солженицын, мне кажется стремится созданием своего языка перекрыть ту огромную пропасть, которая возникла между литературным и разговорным языками образованного слоя общества, особенно в период сталинского языкового пуританства. Пуританство это родилось приблизительно к середине 30-х гг. и, во всяком случае официально, в редакторских кабинетах советских издательств и журналов живет по сей день. Некоторые писатели конца 50-х, а также и 60-х гг. пытались его модернизировать, особенно те, кто принадлежал к новому поколению, давшему нам так называемую лирическую и молодежную прозу, и кто осознал полную стагнацию литературного языка и превращение его в набор языковых (стилистических) штампов. Эти попытки, иногда более, а иногда менее успешные, сосредоточились в основном на введении в повествование большого количества диалога; в некоторых случаях целые рассказы, написанные от первого лица, состояли единственно из диалогов и монологов, что позволяло авторам пользоваться только одним разговорным языком. Но такой метод *обновления* привел, в сущности, только к вульгаризации языка: вместо обновления штампов и создания нового стандарта литературного языка, они ввели *молодежный* жаргон, т.е. добились всего лишь иного типа *жаргонизации*, чем те, которые были созданы ранее "производственниками", "деревенщиками", "военными писателями" и т.п.

В виде маленького отступления хочу заметить, что проблема модернизации литературного языка стала актуальной после Второй мировой войны повсеместно и решалась в разных странах по-разному. В Англии, например, "сердитые молодые люди" просто перешли на разговорный язык; (интересно, что опера Бенджамина Бриттена "Альберт Герринг, законченная им в 1946 году, написана на либретто, которое пользуется *только* разговорным языком). Во Франции представители "нового романа" старались ввести концептуально новый язык; в США негритянский диалект и жаргон "хиппи" легко и быстро вошел в американский литературный *стандартный* язык. Мне ближе знаком процесс модернизации чешского языка. В начале 60-х гг., после войны и периода сталинизма, пропасть между чешским литературным и разговорным языками, которая всегда была значительной, оказалась такой глубокой, что можно было говорить о существовании двух разных языков. Некоторые писатели-прозаики в поисках радикальных мер стали применять в своих произведениях не разговорный язык, а язык, стоящий еще на

несколько ступенек *ниже* — жаргон городских трущоб, пользуясь при этом неправильными морфологическими формами, например, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, и не признавая синтаксических правил. В результате, иногда просто нельзя было понять смысл написанного.

Но во всех приведенных случаях, благодаря свободному развитию, новый стандарт литературного языка понемногу образовался и стал, в общем, приемлемым для большинства читателей, тем более, что после первого шока обновление продолжалось почти незаметно, как это и должно быть. Ведь ни один современный англичанин, например, не ожидает, чтобы сегодняшние произведения были написаны языком Диккенса, т.е. литературным языком гоголевских времен, или Сомерсет Моэма, т.е. языком чеховских времен.

В Советском Союзе, однако, даже язык не свободен, и его развитие регулируется партийными инструкциями цензорам-редакторам. Одна из многих заслуг Солженицына в том, что он, не признавая над собой никакой цензуры, создает свободный современный русский литературный язык, пользуясь методом, не ведущим к его вульгаризации. "Бодался теленок с дубом", мне кажется, лучший этому пример. И прав был Твардовский, когда он писал в своем предисловии к "Ивану Денисовичу", что с появлением в русской литературе Солженицына писать по-старому больше нельзя.

\*\*\*

Н. БЕЛИНКОВА

## Я – ТОЛЬКО СВИДЕТЕЛЬ

Комната была маленькой. Ее образовывали книжные шкафы, большой письменный стол, картина Серова на стене и кресла. Мы сидели на расстоянии дыхания друг от друга.

Солженицын встал, в три больших шага пересек комнату и размахисто показал, где висел портрет в кабинете следователя.

На столе вырисовался стеклянный графин, пробкой от которого заключенного били в зубы. Стены были серые, с пятнами чего-то рыжего. В углу стоял несгораемый шкаф с массивной железной ручкой. Заключенного, сидевшего на грубом табурете рядом со шкафом, били в лицо. Он инстинктивно дергался головой назад и кричал от того, что ударялся о железную ручку. Бледный следователь ударял еще раз.

Подследственных было двое: Александр Солженицын и Аркадий Белинков. Всё это случилось в Москве в нашей квартире по адресу Малая Грузинская, дом номер 31, квартира 69.

Шел 1967-й год, отмеченный во всех странах как праздник русской революции.

Это был переломный год в истории оппозиционного движения в СССР. Время переламывалось не в нашу пользу. При входе в мыльное отделение бани на площади имени Журавлева висел плакат: "Досто́йно встретим 50-ю годовщину Октября!"

Время переламывалось, люди перемалывались. Крутились колеса судьбы. Тогда судьба бывших узников Солженицына и Белинкова была схожей. Потом они стали судьями. Один судит тюрьму и тюремщиков, другой – каменщиков и садовников. Одного слушает весь мир, другого – узкий круг московской интеллигенции. Я же – только свидетель.

Земляки, встретившиеся на чужбине, вспоминают свою родину. Фронтовики – военные будни. Вспоминая, находят что-то смешное среди трагедий и взрывов. Маркс писал, что "человечество, смеясь, расстается со своим прошлым." Вся Россия в начале шестидесятых годов вспоминала, но никто не смеялся.

На знаменитой "Аэропортовской улице" стоят дорогие кооперативные дома. Там обитают счастливые, хотя и "раздетые камнем" советские писатели. Казалось, они отличались от героев романа Ольги Форш, одетых камнем Петропавловской крепости. Но в перспективе времен судьбы современников и предшественников соединялись.

Однажды, проходя мимо этих домов, мы встретили знакомых.

- Идемте с нами к Фриде Вигдоровой!
- Но мы не приглашены.
- Да чего там, свои люди.

В дверях нас встретила маленькая женщина с седой челкой и резкими мальчишескими движениями. Дома был ее муж, писатель-юморист Раскин — мягкий и сумрачный человек. Говорят, что Зоценко тоже отличался угрюмством.

Нас, бесцеремонно забредших на огонек, было семеро. Среди гостей оказалось несколько тихих нителлигентных седоватых женщин. Как-то так само собой вышло, что каждая рассказала по тюремной истории, потому что каждая отсидела в тюрьме. Была и гитара. Пели Галича или что-то блатное. Наше общее сталинское прошлое наполнило нас. Мы не смеялись. Перешли в кухню. Почему-то пили горячий чай с мороженым. Круглый стол, за которым мы сидели, был ярко освещен модной лампой.

Но холодок еще пересыпался между лопатками. Раскин стоял в проеме двери. До того не проронивший ни слова, он оглянулся и тихо сказал:

— А теперь я вам расскажу удивительную историю... — мы замолчали — о том, — сказал он громко и шопотом добавил: — как я не сидел в тюрьме.

Сразу же после начала работы комитетов по освобождению бывшие заключенные потянулись на родину. Почти все они ехали через Москву. В Москве в любое время дня вы попадаете в людской поток. Вы движетесь по улице вместе со своими неопознанными единомышленниками и стукачами, бывшими заключенными и сегодняшними вохровцами. При входе в театр, в картинной галерее или просто в очереди за хлебом мой муж то и дело встречал своих. Чуть втянутая шея, чуть приподнятые плечи — человек защищается от удара, блестящие глаза и лицо землистого цвета. Узнавали друг друга, кидались друг другу навстречу, расставались и попадали куда-то. Я помню женщину, которая на выставке Малевича пересказывала мужу содержание его лагерного романа "Алепаульская элегия". Я помню старого еврея, который выжил в Освенциме и попал за это в Казахстан и опять выжил. Я помню человека, спросившего "лишний билетик" в театре им. Вахтангова на Арбате и то, как мы отдали свои билеты кому-то и провели вечер вместе.

В той же городской толпе ходил сначала никому не известный, а потом никем не узнаваемый Солженицын. Он часто приезжал по делам из Рязани в Москву.

Но раньше, чем с Александром Исаевичем, мы познакомились с Иваном Денисовичем.

Отсидевший от звонка до звонка свои три тысячи шестьсот пятьдесят три дня и обретший вместе со свободой мировую известность, он, удивленный, спокойно и деловито ходил по самиздату с лагерьной увертливостью избегающего шмона. Читая один день из его жизни, бывшие заключенные удивлялись точности изображения лагерной жизни. Белинкова особенно поражал градусник на высоком столбе — точно такой был в его песчлаге. А рельс, по которому били на морозе, и с которого начинался темный лагерный день, и по сей день бьет бывших лагерников ночами, и они просыпаются в пять утра и долго потом не

могут заснуть.

Ничего не было удивительного в том, что когда-нибудь могла состояться встреча и с Солженицыным. Бывшие Зе-ка жили рядом с нами. Добрый, готовый ожесточенно, до ссоры спорить о принципах марксизма прототип Рубина продолжал встречаться с Солженицыным и на воле. Он передал ему книгу Белинкова "Юрий Тынянов".

Героями этой книги были поэты. Их ум был опасен, как порох, потому что властью был сжат. Один из них взял пистолет и пошел на площадь (это был Кюхельбекер), другой оттолкнул всех и сказал: "подите прочь!" (это был Пушкин), третий хотел восстать, но понял, что всё бесполезно и принял приглашение на службу в Персию (это был Грибоедов). И все погибли. Пожалуйста, не читайте эту книгу те, кто не жил в СССР и не знает, что такое эзопов язык советского периода. Вы будете думать, что слова "абсолютистское, тираническое, полицейское, деспотическое" относятся только к русскому государству до 1917 года. К счастью, так думал и цензор номер А 13113, подписывая книгу "к печати" 2-го октября 1965 года.

О ком-то другом, о чем-то другом тогда читал в этой книге Солженицын: может быть, о Гумилеве, Ахматовой, Зренбурге или о Пильняке, Пастернаке, Фадееве. Какие-то другие слова подставил он на место слов "полицейское" и "абсолютистское". Может быть, "советскорежимное" или "милиейское"? Во всяком случае Иван Денисович 20-го века встретился с поэтами 19-го века в тираническом государстве. Солженицын прислал письмо — "мужественная книга". Назревала встреча.

К этому времени московская интеллигенция притихла. Голодный тюремный паек, вонючие портянки и сторожевые собаки перемололись в литературу. "День открытых убийств" запретили. Провели первые закрытые суды. Тихо вызревали руситы, и организовывалось демократическое движение. Радио и телевидение прохаживались по ленинским местам. Вспоминали великое историческое прошлое. Белинков отправил рукописи за границу. Солженицын собирал материал для "Августа 14-го" и для "Архипелага Гулага".

Я была занята какой-то срочной работой в Отделе перспективного Московского телевидения, когда в два часа дня раздался телефонный звонок. Мой муж, который был большим человеком, потому что тринадцать лет провел в сталинских лагерях, задыхающимся голосом сказал:

— Наташа, ты можешь всё бросить и сейчас же приехать домой?

Я решила, что опять нужно вызывать неотложку, хлопотать о госпитале, брать отгулы. У меня перехватило дыхание и я спросила:

— Что случилось?

— Ничего, ничего, но к нам через полчаса приедет Солженицын.

Вы понимаете, что как газета "Правда", так и Московское телевидение, это органы агитации и пропаганды, и совсем другие авторитеты определяют характер деятельности этих учреждений. Однако, когда

я, положив трубку, сказала: — Разрешите мне, пожалуйста, сейчас же уйти домой, потому что через полчаса к нам придет Солженицын, — то мне немедленно разрешили уехать. Правда, отпустили меня только на короткий срок.

Был один из дней оттепели. Не той политической оттепели, которая определила начало 60-х годов, а обычной, сырой, серой и холодной оттепели с рыхлым снегом на улицах. Московский городской транспортный парк, хорошо приспособленный к тому, чтобы довольно быстро расчищать снежные заносы, не справлялся со своей задачей. Снегочерпалки только загромождали улицы.

Такси, которое я взяла для скорости, ползло чрезвычайно медленно. Я сердилась и проклинала себя за то, что не воспользовалась метро, как обычно. Часто смотрела на часы и считала: вот уже прошли полчаса, вот прошли вторые, вот Солженицын в нашем доме, а я теряю минуту за минутой этого свидания.

Конечно, я опоздала.

Входя в дом, я услышала голоса. Мне навстречу поднялся человек из русских былин. Он был высокий, широкоплечий, а его откровенное лицо широко открывала рыжеватая борода. Он легко краснел, и от этого казалось, что он смущался. Чем-то очень синим светились глаза. Улыбаясь и глядя на меня сверху вниз, Солженицын неожиданно виновато сказал:

— Вам из-за меня пришлось уйти с работы?

Очень разные — болезненно-голубоватый, с острыми семитскими чертами лица, подобранный и сдержанный Белинков и подвижной, казалось, пышущий здоровьем человек, сидели в одинаковых креслах. Что-то общее объединяло их и отъединяло от меня. Я была неловкой с моими попытками угостить кофе, с моими тарелочками, салфеточками, и печеньем.

В руках у Белинкова была узкая полоска бумаги с обозначенными пунктами 1,2,3,4. Эта полосочка в числе таких же других до того лежала на столе в стопке "Солженицын". Полоски были узенькими, это были обрезки не до конца использованных бумажных листов, которые по лагерной привычке жаль было выбросить. Были другие стопки — "Ахматова", "Декабристы", "Олеша". Я знала, что сейчас муж держит в руках вопросы, касающиеся литературного творчества Солженицына.

Но писатели не дискутировали по вопросам литературы. Вспомнили лагерь.

Они почему-то радовались, что оба в один и тот же год попали на Лубянку, что у них был один и тот же следователь, что сидели они тогда в одном и том же коридоре (камеры 53 и 56) наискосок друг от друга, когда один уже был приговорен к смерти, а другой только приговаривался и еще неизвестно к чему. И тут, покраснев, Солженицын протянул руку, показывая, где висел портрет, и они, а вслед за ними и я, увидели телефонную трубку на столе и тяжелую стеклянную пробку от графина, которыми били в зубы. С невероятным энтузиазмом они

убедились, что были в одном лагере, и стало ясно в этот момент, почему всё так похоже: и термометр висел на столбе, и не было видно в седоватой изморози сколько градусов он показывает, только мерзли ноги и кололо от мороза в шею между бушлатом и телогрейкой, и слышно было, как хрипло лаяли собаки на ветру. Они не встретились там, потому что там от Балхаша до Акмолинска расстояние такое же, как от Гавра до Марсея, как часто повторял Белинков, и как об этом написал Солженицын.

Оказавшись в знакомой лагерной обстановке, они спешили поделиться опытом, как будто он мог им опять пригодиться, спешили спросить друг друга о том, что пропустили: Особенным даром расспрашивания отличался Солженицын. Никакой бумажки в его руках не было, но свои 1,2,3,4 он задавал очень последовательно. Казалось, что перед вами строительный рабочий, который возводит высокую стену и ему, как и его Ивану Денисовичу, необходим вот именно этот кирпич и вот именно сейчас. И вы готовно и благодарно отдавали ему ваши сокровенные мысли или ничтожные чувства — всё равно. Среди кирпичей, из которых построен "Архипелаг Гулаг", есть и те, которые он получил во время этой встречи.

В "Архипелаге Гулаг" Солженицын как бы награждает Белинкова званием политического.

За что?

В 1943-м году он написал демонстративно-автобиографический роман о том, что пакт Молотова-Риббентропа помог развязать вторую мировую войну. Назывался он "Черновик чувств" или "Антисоветский роман". Конечно это был антипатриотический, "клеветнический" роман. В конце стоял адрес автора, а в начале был помещен его в высшей степени романтический портрет. Ведь автору было только 21 год и посвящал он его любимой девушке Марианне. Этот портрет мне недавно переслали из Москвы. "Черновик чувств"—рукописный роман, предшественник теперешнего самиздата, переписанный мельчайшим почерком и сохраненный в течение более чем тринадцати лет, был подарен Белинкову после его возвращения из лагеря. Автор признал его антихудожественным и мы сожгли его. Мы жгли его в алюминиевой кастрюле, которая вся почернела, а комната после этого несколько дней пахла дымом. Но роман не пропал. Другие его списки находятся в архивах КГБ, (очевидно, в папке "Хранить вечно"). После нашего побега из СССР "Литературная газета" процитировала отрывок из этого романа: "Мы тайно живем в России". С тех пор тайное инакомыслие стало явным уже давно.

Причиной ареста Белинкова был во-первых этот роман, во-вторых частые визиты во французское посольство, куда он ходил пользуясь правом военного корреспондента, в третьих, создание группы. Это была эстетская группа. Она называлась "необарокко".

Полувлюбленные друг в друга юноши и девушки встречались на вечеринках, рассуждали, слушали музыку, читали стихи и свои произведе-

дения, которые они старались писать не по застылым прямолинейным догмам классического соцреализма, а иначе, с инаконаклоненными плавными завитками орнаментальных линий.

Поводом же для ареста послужил ствол от немецкого пулемета.

Одна девушка жила в доме на Арбате. Окна ее квартиры выходили во двор. По Арбату проходила правительственная трасса. Товарищ Сталин проезжал по этой трассе из Кремля на дачу. Если взять загнутый ствол от немецкого пулемета и высунуть его из окна во двор, то не только можно создать теоретические предпосылки для покушения, но и осуществить его метафорическую сущность: выстрел из-за угла.

Так по крайней мере рассуждало ОСО (Особое совещание).

Младшие братья девушки летом жили на даче в Быково. Там был расположен аэродром, на который делали налеты немцы. Однажды был сбит немецкий самолет, и до прибытия солдат там успели побывать дети. Они торжественно привезли в Москву трофей — кривой ствол от немецкого пулемета. Потом о нем забыли. Когда в январе 1944 года арестовали Белинкова, то в домах всех его друзей были произведены обыски. Там нашли забытую игрушку, которая стала вещественным доказательством "террористических намерений" группы "необарокко".

Белинкова арестовывали дважды. Второй раз это произошло в лагере. После первого ареста Белинков был приговорен к смертной казни, но после хлопот и писем крупнейших советских писателей—Алексея Толстого и Виктора Шкловского—смертный приговор был заменен сначала политизолятором, а затем восьмилетним сроком в исправительно-трудовом лагере. В лагере он продолжал писать. Скручивал написанное в трубочку и закладывал в консервные банки. Банки зарывал. За несколько месяцев до окончания срока Белинков умирал. Консервные банки были закопаны в земляном полу под печкой. Он доверил тайну некоему Кермайеру. Кермайер куда-то ушел, но минут через 20 вернулся: "Аркадий Викторович, а как правильно пишется ваша фамилия—Белинков или Белинков?". Он уже писал донос. И Белинков получил еще 25 лет. "Кто решится писать в лагере?", пишет по этому поводу Солженицын.

Это были воспоминания фронтовиков после войны. Это были воспоминания земляков на чужбине. Это было узнавание знакомых мест, это было ощупывание придорожных примет на путях, ведущих туда, откуда редко кто возвращался и куда даже Макар не гонял своих телят.

Они были только вдвоем, я уже не слышала их голосов, я была одна среди четырех стен с пятнами чего-то рыжего, я летела в раскрывающиеся пропасти, и конца этому падению не было.

—А что это за черная сажа? Помните, во время прогулок?

—А это рукописи...

И Белинков рассказал, как у него на глазах жгли его рукописи в стиле "необарокко", вывезенные вместе с ним из московской квартиры. Ворошили уголь и пепел. Горело хорошо и сажу тянуло по длинной самодельной трубе. Труба выходила на крышу Лубянки, где за высоким

забором, так что видно было только небо, но и на него смотреть было нельзя, был прогулочный дворик для заключенных.

Уже здесь в Америке, после операции сердца, у мужа начались сильные боли в области груди, которые и привели к инфаркту со смертельным исходом. Современная аппаратура показывала, что операция сделана блестяще и причину болей найти не могли. Тогда вызвали психиатра. Психиатр стал искать болевую точку в памяти пациента. Предполагается, что если таковую точку найти, то больного можно излечить или, по крайней мере избавить от страданий. Пациент вспомнил, как от моральных пыток перешли к физическим. На той же печке вскипятили таз с водой и в кипящую воду всунули голые ноги, тоже "прокипятить". Болевая точка обнаружилась у меня и я заорала: "Прекратите!..".

Когда о подобных попытках вспоминали Солженицын и Белинков, у меня не было права закричать им, чтобы они замолчали.

Я сидела напротив них.

Солженицын, глазами устремленными в прошлое, зацепился за что-то, мешающее ему рассказывать, за что-то реальное, что-то из сегодняшней жизни. Этим чем-то ненужным, лишним и мешающим были даже не остывшие кофейные чашечки, а мое лицо, лицо человека не сидевшего в тюрьме. Он недоуменно выбросил в моем направлении руку: "Посмотрите! Почему у нее лицо такое белое?".

И мы все вернулись к реальности.

Солженицын пробыл у нас дольше, чем собирался, и спешил. Я опаздывала к назначенному часу на работу. Мы вдвоем вышли из дому. Денег на такси не было. До метро шел автобус. Он как раз показался из-за угла. Солженицын с отвагой бывалого москвича ринулся к остановке. Я за ним. Успели. Обычной толкотни у автомата не было. Никто не менял и не выпрашивал "пятак". В емкой пригоршне Солженицына было много мелких монет. "Кому пятаки, кому пятаки?!", лотошно, заливаясь розовым румянцем, кричал он, щедро предлагая свой дар. Никому не нужны были пятаки и никто не знал, что это был Солженицын.

Все это произошло однажды недалеко от московского зоопарка. Там человек насыпал макаке песку в глаза. Просто так.

.....  
*Здесь – некогда потерянная странница –  
я воспеваю родину-избранницу.*

Э. Б.

Давно...

Из страны, опаленной войной,  
сюда прибыла я с котомкой пустой;  
не с целью ограбить, иль что-то отнять,  
а как сирота, потерявшая мать.

Пришла и сказала:

"Возьми меня в дом.

Тебе отплачу я трудом и добром.

Вот руки мои: волдырей не боюсь.

Не всё я умею, но верь – научусь.

Прекрасен твой дом...и простор в нем какой!

Мне кажется будто пришла я домой.

"Войди, – ты сказала, "я многих детей  
впустила к себе; ты найдешь здесь друзей.

Останься,

дели с ними труд и досуг,

сомкни смело цепь их протянутых рук.

Кишащие жизнью озера-моря,

и лес, что звучит голосами зверья,

в земле спящих руд вековые пласты –

всё это найдешь, коль захочешь,

и ты."

Я низко в ответ поклонилась тебе

и скрылась в детей твоих пестрой толпе...

Лён пышных волос,

тёмных глаз огонёк

иль бронза ветрами отточенных щёк;

певучий, гортанно-отрывистый смех,

прозрачный янтарь полусросшихся век;

таинственный взгляд

и медлительный шаг

(невольная мысль: друг он мне

или враг?.. ).

Потом — говор с частыми жестами рук  
и голос, как песня;  
да, да, это — друг!  
Такой мне предстала впервые твоя  
теперь уже близкая сердцу семья.

Не сразу влилась я в нее: мой язык  
к наречью чужому не скоро привык.  
Бывало в толпе средь смеющихся лиц  
смахнуть приходилось слезу мне с ресниц.  
Но с просьбою новой к тебе я не шла:  
работать, учиться, читать — всё могла  
я здесь без запретов.  
А книг... сколько их!  
Вот он — на твоём языке первый стих.

Уже мне понятны и песни людей,  
вольна среди них выбирать я друзей.  
Ни годы спустя, ни на первых порах  
не ранил меня  
цепким холодом  
страх.

Доверчива ты:  
у меня есть свой храм.  
Свободно встречаюсь я с братьями там,  
хотя и в мечеть я войти не боюсь —  
по вере отцов  
и пою,  
и молюсь.

Твой дом стал моим;  
для меня с той поры  
доступными стали все мира дары.  
Сокровища для зачарованных глаз,  
я пью с благодарностью их  
и сейчас...

Могу ли я здесь чужестранкою быть?  
Могу ли семью твою я не любить?  
Хотела б воспеть я на всех языках  
всё, всё, что нашла  
в твоих щедрых руках!

\* \* \*

*Из поэмы "В лучах Северного сияния", написанной  
для одноименной оратории Леона Цукерта в 1975 г.*

## ИТАЛИЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ А.К.ТОЛСТОГО

Соприкосновение А.К.Толстого с жизнью, культурой, историей и природой Италии, представляя чисто биографический интерес, в сущности далеко выходит за пределы лишь такого интереса. Уже одно это соображение может быть достаточным стимулом для разработки названной темы любым литературоведом, занимающимся изучением творчества выдающегося писателя – одного из тех, кто (если говорить о широко взятой исторической панораме) составляет необходимое звено в блестящей "толстовской" триаде имен русской литературы 19 - 20 веков. К тому же тема "Италия и А.К.Толстой" явно лежит на поверхности, хотя отнюдь не является чем-то поверхностным и не заслуживающим слишком пристального внимания. Более того, можно считать, что итальянские интересы А.К.Толстого были одним из стержневых моментов в формировании комплекса его литературно-эстетических идеалов, да и в стимулировании непосредственных творческих поисков и свершений писателя.

Глубоко русский по натуре человек, не лишенный даже определенного налета если не ортодоксального славянофильства, то, во всяком случае, "славянофильского декора", А.К.Толстой на протяжении всей жизни любил Италию, в которой он неоднократно бывал и которой не уставал восхищаться. Это восхищение не было легким чувством скукучающего аристократа; не было оно и результатом сплыва революционных эмоций, столь естественных для иного русского в эпоху Рисорджименто и российского народничества. Душе артистической и художнической (а именно такой была душа графа Алексея Константиновича Толстого) всего более соответствовал образ Италии – праматери искусств, страны, влекущей мечту к истокам цивилизации и к светлой гармонии музыкально – пластических воплощений Красоты с большой буквы.

"Я бы желал умереть в Риме, не переставая при этом считать себя русским", – написал А.К.Толстой в 1869 году, т.е. в то время, когда он вел жизнь профессионального литератора, не связанного службой и официальным положением. (1) "Я думаю, – писал он задолго до этого признания, будучи еще обремененным обязанностями государственного чиновника, – что если бы я поселился в Италии...я мог бы вернуться к тому, к чему я был предназначен. (1) Истинно "судьбоносный" характер этих реплик очевиден: и национальная гордость, и безграничная любовь к искусству ("к чему был предназначен!") – все соотносится с Италией, ее землей, ее искусством.

Первые итальянские впечатления А.К.Толстого зародились у него еще в отроческом возрасте. До нас дошел дневник 1831 года (вернее, дошла публикация этого дневника в журнале "Вестник Европы" за 1905



*F. Schuler-Moritz*



год), когда Толстой – в то время четырнадцатилетний мальчик – со школьной аккуратностью регистрировал свои, довольно наивные, правда, но не лишённые занимательности, мысли и чувства от путешествия по Италии, которое он совершил вместе со своим дядей Алексеем Перовским – писателем, известным под псевдонимом Антоний Погорельский. Дневник датирован мартом – маем 1831 года, а веками путешествия Толстого были Венеция, Верона, Милан, Флоренция, Рим, Неаполь и другие итальянские города. Дневниковые записи в основном сводятся к перечислению бытовых зарисовок, описанию архитектурных красот, скульптур и картин. Все это объединено не столько, разумеется, глубиной мысли, сколько забавно – детским глубокомыслием неопита. Иногда попадаются реплики, сами по себе неплохие, изобличающие руку будущего первоклассного писателя, но это суть отдельные блески, и дневник 1831 года – факт прежде всего жизненной, а не творческой биографии Толстого. Однако он знаменателен в высшей степени, и нельзя считать лишь любезным преувеличением то, что уже в конце жизни писал Толстой де Губернатису, когда, говоря о своих первых итальянских впечатлениях, он признавался, что впечатления эти произвели в его душе "переворот" и что "по возвращении в Россию" он "впал в настоящую *тоску по родине* – по Италии..." (3) Характерен здесь авторский курсив: "тоска по родине". Да и внимательно читая письма Толстого зрелых лет, можно видеть, насколько сильными в своей основе оказались первые ребяческие восторги его.

Неудивительно поэтому, что уже в первых литературных опытах "итальянские мотивы" дают о себе знать весьма ощутимо. Печатным дебютом Толстого была публикация в 1841 году фантастической повести "Упырь", благожелательно встреченной при своем появлении строгим Белинским. Отмеченная влиянием Гофмана и Погорельского, повесть в то же время несет в себе следы итальянских воспоминаний молодого литератора. Достаточно вспомнить, что действие "рассказа в рассказе" (вставная новелла о приключениях Рыбаренко, приведших его к психическому расстройству) происходит в Италии. "Биографичность" деталей при этом подтверждается простым сопоставлением. Согласно рассказу Рыбаренко его приключения начались на озере Комо и в них некоторую роль играла девушка по имени Пепина – второстепенный, но сюжетно необходимый персонаж. А в 1872 году Толстой в письме своей жене из Комо подробно вспоминал о путешествии в эти края в 1838 году (вместе с великим князем Александром Николаевичем, сыном Николая I) и о своих встречах с дочерью одного из местных жителей – Пепиной. (4)

"Итальянский план" повести "Упырь" чувствуется также и в описании действующих лиц (среди них итальянцы: та же Пепина, ее брат разбойник, Антонио, дон Пьетро), и в оригинальной мифологической картинке (эпизод дона Антонио), где действуют римские боги, а он сам играет роль Париса. Даже в сугубо "русские" сцены повести вкраплены детали итальянского колорита: здание бригадирши напоминает "прекрас-

ные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима", на стенах висят "картины итальянской школы" и т.п.(5) Во всем этом нельзя не заметить устойчивый характер вполне определенных ассоциаций.

Конечно, "Упырь" — не определяющее для творчества Толстого произведение. Однако в нем намечены мотивы, образы, сюжетные ходы, которые стали для него довольно примечательными. Легко прослеживается связь между мифологическими сценами в "Упыре" и в "Амене" (рассказ 1846 года); имя Амвросия также фигурирует и здесь и там; еще более очевидны совпадения в тех случаях, когда Толстой обыгрывает полюбившийся ему сюжетный поворот рассказа, связанный с "оживающим портретом" и сновидениями своих героев. Такие совпадения бывают у него почти дословны, несмотря на солидную временную дистанцию. "Упырь" появился в 1841 году, а небольшая поэма в октавах "Портрет" писалась в период с 1872—го по 1873 годы. И что же? Можно обнаружить текстуальное сходство между описанием портрета (видимо, художника "итальянской школы"), представшего глазам героя повести "Упырь" Руневского, и стихотворным описанием портрета в поэме 70-х годов. ("Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди.") (6) В поэме соответствующая октава звучит так:

*"То молодой был женщины портрет,  
В грациозной позе. Несколько поблек он,  
Иль, может быть, показывал так свет  
Сквозь кружевные занавесы окон.  
Грудь украшал ей розовый букет,  
Напудренный на плечи падал локон,  
И, полный роз, передник из тафты  
За кончики несли ее персты." (7).*

Указанные совпадения не суть что-то чересчур важное; это, в общем, детали, но детали такого свойства, каким пренебрегать нельзя, ставя перед собой задачу анализа углубленного и локализованного совершенно определенным аспектом.

В данной связи несомненный интерес представляет рассказ "Амена". Он был в свое время встречен Белинским с суровостью, обратное пропорциональное тому одобрению, какое критик высказал в адрес "Упыря". Белинский увидел в рассказе подражание Шатобриану. Это справедливо лишь отчасти; в общей панораме творчества Толстого "Амена" находится где-то на крайней периферии, но, пожалуй, не столько в силу своей подражательности, сколько по причине незавершенности: ведь сам по себе рассказ является фрагментом задуманного и не написанного романа "Стебеловский". К сожалению, не существует никаких материалов, которые могли бы содействовать реконструкции этого за-

мысла Толстого. Можно строить только предположения: не собирался ли Толстой, учитывая "двойной план" рассказа "Амена", сделать из предполагаемого романа нечто, по форме напоминающее "Серапионовых братьев" Гофмана? Во всяком случае, если взглянуть на его ранние прозаические вещи, проникнутые "гофмановским элементом", в комплексе, не так уж трудно тогда представить их (т.е. повесть "Упырь", "Семью вурдалака", "Встречу через триста лет" и "Амену") объединенных приемом обрамления в одну книгу. Разумеется, это лишь гипотеза, но она может казаться не совсем беспочвенной, если учесть философски-символический замысел (а также композицию) самого "итальянского" из толстовских рассказов в прозе — его "Амены".

Действие рассказа происходит в Риме, имея два хронологических измерения: в сценах, обрамляющих рассказ Амвросия (главный действующий герой), это — Рим, современный автору; в большей же части сюжет развертывается на фоне исторических событий древнего Рима — событий, связанных прежде всего с борьбой христианства и язычества. Отсюда проистекает символика повествования. Она, кстати, сродни не одному Толстому. В русской литературе тема борьбы языческого и христианского начал еще до Мережковского была рельефно выражена А.Н.Майковым, отчасти Каролиной Павловой. Толстой поэтому является одним из зачинателей интересной тематической линии, которая одновременно входит в круг его итальянских интересов.

История грехопадения Амвросия, соблазненного искушительницей — язычницей Аменой, представляет собой аллегорию в древнеримских декорациях. Характеры героев условны; обстоятельства, в которые они попадают, отличаются напряженностью конструкции, изобличающей не столько логику действия, сколько авторский замысел. Генетически связаны между собой описания сновидений Амвросия, когда ему предстают языческие боги, с картиной сна Антонио в "Упыре". Наконец, можно обнаружить и "выходы" в лирические стихи Толстого из текстовой структуры "Амены". Так, в одной из обрамляющих рассказ Амвросия сцен идет разговор о полотнах Рафаэля, тематически предвосхитивший небольшое стихотворение Толстого 1858 года "Мадонна Рафаэля". (8) В целом же, конечно, художественная значимость "Амены" невелика, хотя, повторяем, нужно помнить, что речь идет об отрывке незавершенного произведения, а в таких случаях абсолютные суждения поневоле условны.

Что касается стихов, то наиболее полно проявилась "итальянская настроенность" Толстого в его весьма интересном "рассказе XII века" под названием "Дракон". Он был задуман как литературная мистификация: в подзаголовке "Дракона" стоит деликатная ремарка — "с итальянского". Поэма, написанная терцинами, посвящена Я.П.Полонскому, однако сам Толстой в момент ее создания, пожалуй, думал больше о Губернатисе, которого был непрочь и разыграть. (9)

"Дракон" — это искусно выполненная стилизация в манере Данте, причем, как видно, например, из письма Толстого М.М.Стасюлевичу от

22 июня (4 июля) 1875 года, автор ее мог судить об этой манере вполне квалифицированно. (10)

Исторической основой поэмы были события итальянских походов Фридриха Барбароссы, когда в ожесточенной борьбе между гибеллинами и гвельфами содрогалась земля Италии, подобно тому, как сотряслась она под тяжестью тела гигантского "Дракона", столь зримо нарисованного Толстым в его стихах. Сам поэт высоко ценил ту степень рельефности и образной выразительности деталей, которой ему удалось достичь в описании самого чудовища и в рассказе об испытаниях двух гвельфов — героев поэмы. В письме, написанном во Флоренции в мае 1875 г. и адресованном княгине К. Сайн-Витгенштейн, Толстой следующим образом пересказал сюжет своего произведения, дав заодно и резюмирующую оценку его:

"Оружейник из Милана рассказывает, что он служил в армии гвельфов во время войны с Барбароссой, и после проигранной битвы, в которой был убит их вождь, ему было поручено этим умирающим вождем доставить весть в Киавенну. Он отправляется в горы с своим учеником, и они сбиваются с пути. Они влезают на вершину, чтобы осмотреться, и там видят спящего дракона, которого они вначале принимают за изваяние. Ученик бросает в него камнем; дракон медленно просыпается, оживает, спускается в долину и начинает с того, что съедает их лошадь которая привязана к дереву. Затем он добирается до поля битвы и пожирает тела их убитых товарищей, — все это они видят с вершины скалы. Достигнув Киавенны, они находят ее в руках гибеллинов; затем следует взятие и разрушение Милана. Рассказчик считает появление дракона *знамением*, относящимся к Барбароссе, и кончает тем, что проклинаят те города, которые перешли на его сторону. Все достоинство рассказа состоит в *большом правдоподобии невозможного факта...*" (11)

"Дракон" принадлежит к числу безусловных художественных удач Толстого. Это не подражание на историческом материале (подобно "Амене"); это стилизация на ниве его, воссоздание куска жизни отдаленной эпохи с тем пластическим тактом, с той способностью перевоплощения, которые были характерны для дарования Толстого и которые сближали его с пушкинской традицией. Итальянская же тема, использование терцин, сознательная апелляция к Данте, еще более повышают историко — литературную значимость этого опыта, имея в виду соприкосновения русских поэтов разных времен с музой и мыслью великого флорентийца.

Поэма "Дракон" была полностью "итальянской" вещью Толстого, однако и в других его стихотворных произведениях встречаются итальянские ассоциации и образы. Так, в незаконченной поэме "Алхимик" (1867 г.) герой ее — Раймунд Луллий, направляется в поисках "философского камня" в "несокрушимый, вечный Рим"; поэма обрывается и мы не получили картин его жизни в Италии, а картины эти, вероятно, были задуманы.

Можно указать на случаи, когда Толстой затрагивает тему связей

(дружественных или конфликтных) России, славянского мира и Италии в историческом прошлом. В этом плане показательна его баллада "Роман Галицкий", которая сюжетно построена на разговоре галицкого князя Романа Мстиславича (ум. в 1205 г.) и посланника папы Иннокентия 111. Призыв папы Евгения 111 в 1147 г. к походу на прибалтийских славян стал исторической основой баллады "Боривой". Как на аналог сюжетной ситуации "Романа Галицкого" стоит сослаться на разговор Бориса Годунова с папским нунцием Мирандой в начальных сценах трагедии "Царь Борис". В юмористических стихах Толстого мы находим известный "Бунт в Ватикане", а также шутивное послание барону Ф.К. Мейендорфу – русскому дипломату при папском дворе, бывшего участником дипломатического конфликта с папой Пием IX в 1865 г.

Однако важнее всего не каталогизированный перечень "итальянских упоминаний" в стихах Толстого. Важнее – и здесь мы возвращаемся к тому, что сказано в самом начале, – выявить то значение, которое итальянские привязанности писателя сыграли в формировании его общественно-политических и литературно-эстетических идей. Именно здесь подтверждается то предположение, что его интерес к Италии являлся не просто случайным эпизодом, а был внутренне соизвучен особенностям его творческой природы.

Из всего сказанного выше ясно, что Толстой великолепно знал жизнь, литературу и искусство Италии. При этом следует помнить, что если *он* знал Италию, то и в Италии *его* знали. Уже упоминавшийся де Губернатис не случайно был его корреспондентом. Помимо круга личных знакомств Толстой имел круг своих итальянских читателей и почитателей. С чувством глубокого удовлетворения сообщает он в письме А.М. Жемчужникову об откликах на его стихи в итальянском журнале "**La Rivista Europea**", а также на то, что он прочитал "превосходный перевод "Серебряного", исполнивший меня уважения к итальянскому языку, которому я доселе в оном отчасти отказывал."(12) Эти же комплименты по поводу итальянского перевода своего прославленного романа Толстой повторил в письмах княгине Сайн-Витгенштейн и де Губернатису.(13)

Последнее письмо заслуживает особого внимания, т.к. в нем Толстой рассказывает свою биографию, стремясь представить своему корреспонденту "возможно более полную исповедь".(14)

И в самом деле, письмо Губернатису содержит как рассказ о чисто житейских вехах бытия Толстого-человека, так и изложение его литературно-эстетического кредо. Здесь он достигает большой публицистической силы, и хотя ему не впервые было говорить то, что он сообщал Губернатису, но, несомненно, это один из самых примечательных случаев четкой формулировки его исходных принципов.

Говоря о "нравственном направлении" своего творчества, Толстой характеризует его "с одной стороны, как отвращение к произволу, с другой – как ненависть к ложному либерализму, стремящемуся не возвысить то, что низко, но унижить высокое. Впрочем, я полагаю, – до-

бавляет он далее, — что оба эти отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся...Я один из двух или трех писателей, которые держат у нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что назначение поэта — не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасному, которая сама найдет себе применение безо всякой пропаганды."(15)

Признания в любви к Италии, содержащиеся в письме Губернатису и сопровождаемые воспоминаниями о первом итальянском путешествии 1831 года, обусловили еще одно самопризнание. Толстой говорит о свойственном ему "чувстве пластической красоты".(16) Правда, мысль эту он не развивает столь основательно, как суждения о "нравственном направлении" своего творчества, но, возможно, это и не требовалось, поскольку что-то, а пластическое, артистичное начало его произведений всегда было тем признаком, который именно в силу своей очевидности не нуждался в доказательствах.

Письмо Толстого Губернатису — одно из важнейших свидетельств его интереса ко всему итальянскому. Подобного рода интерес не был чем-то исключительным в среде образованных русских людей эпохи. Он многократно дублировался и варьировался в самых разнообразных сочетаниях. Удивляться этому не приходится: множество объективных факторов действовало в его пользу. Академик В.Ф.Шишмарев в своем биографическом очерке А.Н.Веселовского следующим образом характеризует это время, преломлявшееся в сознании русского человека, коль скоро он соприкоснулся с Италией:

"При нем, — пишет он о Веселовском, — празднуется дантовский юбилей 1865 г., растёт национально-освободительное движение, происходит война с Австрией и присоединение Венеции (1866), организуется поход Гарибальди 1867 г., показавший, несмотря на поражение гарибальдийцев под Ментаной, что не за горами и разрешение вопроса о Риме. В Италии Веселовский застал историю в движении: разрешалась крупная историческая задача, волновавшая всех, происходили большие социальные сдвиги, страна демократизировалась и изживала остатки феодализма, развивалась наука, литература. Местные учёные, с которыми облизился в ту пору Веселовский, А. де Губернатис, А. д'Анкаона, Д.Компаратти, Дж.Кардуччи, были не только представителями современной итальянской науки, но и общественно-политического движения... Народность не только не скрывалась где-то в глубине веков...она была здесь у всех на виду: это был древний Рим, его литература, язык, учреждения и т.п. В Италии Веселовский...увлекся местной жизнью, местными интересами, и притом настолько, что, по его собственным словам, "о России перестал думать"; у него явилась даже идея и возможность совсем устроиться в Италии".(17)

Все это говорится о современнике Толстого — знаменитом русском литературоведе, но все это отчасти (и даже сильно отчасти) может быть применимо к характеристике соотношения "Толстой и Италия".

И он, подобно Веселовскому, был свидетелем перечисленных событий, и он готов был иной раз поселиться в Италии навсегда (говорил же он и о готовности избрать берега Неаполя местом своего "*постоянного пребывания*") (18), и знакомств итальянских у него было вполне достаточно. Интерес к творчеству Толстого среди итальянской читающей публики был налицо, соответствуя общему вниманию, которок привлекала Россия к своей истории и политической жизни. (19)

Конечно, особенности человеческого и художнического склада натуры Толстого не могли не определить во многом специфики отношения его, например, к итальянским политическим делам. В его переписке очень мало говорится о политике, а если и говорится, то порой в самом неожиданном ракурсе. То очевидное, что интересовало многих, казалось ему *лично* второстепенным. Имя Гарибальди в письмах его не встречается вообще; (20) о Мадзини он холодно упоминает лишь один раз, в связи со смертью последнего. (21) Действия короля Виктора-Эммануила волнуют его постольку, поскольку он опасается за судьбу столь милого его сердцу Рима, ибо итальянский король может, по его мнению, сделать из вечного города "фальшивый Париж, с бульварами, с тротуарами из асфальта". А уж если грозит такая перспектива, тогда... "Я очень желаю, — пишет он княгине Сайн-Витгенштейн, — чтобы папа не перестал быть господином Рима, потому что я не могу себе представить Рим без папы. Я питаю к Пио IX чувство искреннего уважения... Я не хочу, чтобы Рим сделался столицей Италии; Рим должен быть столицей мира..." (22) А несколькими абзацами ранее: "Можно сказать про Рим, что он — синтез всех стран, так как всякий считает себя в нем дома". (23)

Не следует слишком глубокомысленно трактовать эти суждения. Высказанные в частном письме, они, говоря несколько каламбурно, носят скорее личностно-полюемичный, нежели *политичный* характер. В них В них больше желания сказать "словцо", нежели выразить *словом* мысль обязательную. Но если не стоит принимать их очень всерьез, то было бы *несерьезно* отмахиваться от них вообще. Ракурс видения жизни художником, человеком искусства, отличен от рационально-политического взгляда доктринера той или иной "платформы". И можно понять, почему Толстому папский Рим кажется привлекательней Рима обуржуазившегося. *Под вопросом* была для Толстого судьба эстетической идеи всего, что связано с понятием — "Рим", а могло показаться, что он решает "римский вопрос". Это, разумеется, была только видимость.

В то же время высказывания Толстого об Италии теснейшим образом связаны с его восприятием России и славянского мира в целом. В уже цитированном письме к Сайн-Витгенштейн он пронизательно замечает, что не только *любишь* больше свою страну издалека, но и *видишь ее* лучше, и лучше *понимаешь*". "К тому же, — продолжает он, ссылаясь на блистательный прецедент, — "наш величайший гений, Гоголь, тот, который с полною справедливостью может называться *всемирным*

*иением*, написал свои "Мертвые души" именно в Риме."(24)

Сопоставления исторических судеб Запада и славянского мира зачастую полны у Толстого критицизма в адрес Востока: "...чем боле я вдумываюсь в славянщину, тем боле убеждаюсь, что наша порода, если мерилом брать результаты, стоит ниже племен германских и романских...Мы своего рода кельты; мы уступаем другим национальностям. Мы поглощаем в себе финнов, но нас поглощают немцы и итальянцы."(25) Критицизм аналогичного свойства распространяется у него и на область сопоставления религий, причем это сопоставление сопряжено с мыслями Толстого о духе истинной гражданственности, прибежищем которой в истории были для него Киевская и Новгородская Русь, а в равной степени – итальянские горда и республики. Вот показательнейшее место из письма жене от 28 марта (9 апреля) 1872 года:

"Я опять ходил пешком в Комо и вернулся также, погуляв немного и выслушав часть обедни в соборе.

С обеих сторон у дверей снаружи стоят две статуи – Плиния Старшего и Плиния Младшего.

Они – конца четырнадцатого века, и оба Плиния одеты докторами.

Надпись говорит, что сенат и народ Комо решили отдать эту честь двум великим людям, которые делали честь человечеству. Что за люди были, граждане итальянских республик!

Как они мало были педанты! и как мало было педантизма в католической церкви!

Она говорила: "Признавайте меня, платите мне десятину, а потом ваяйте чертей в моей ограде и ставьте идолопоклонников на царские места – что мне за дело!" А у нас тем временем занимались: разрешается ли гриб масленок в четверг?"(26)

В свете таких высказываний Толстого понятнее делается тот интерес, который вызывали у него известные в истории случаи контактов между западной и восточной церквями. Хотя его суждения в этом плане лишены однолинейности, однако можно легко обнаружить налет симпатии по поводу этих случаев в таких, например, его репликах, как те, что обращены к Болеславу Маркевичу в письме от 26 марта 1869 года:

"...Известно ли Вам, – писал Толстой, – что Григорий УП, знаменитый Гильдебранд, был признан Изяславом? И что его антипапа, Климент, не знаю уж, который по счету, отправил посольство в Киев? Какое? Что Вы об этом скажете? Католические нунции на византийских улицах Киева? А Генрих 13, германский император, тоже отправляющий посольство к Изяславу? И монахи из свиты нунция, чокающиеся с *печерскими иноками*? Византия и Рим ссорились, но их ссоры не могли еще коснуться народов, лишь недавно принявших христианство и друживших между собой, чему свидетельство – бесчисленные браки между нами и другими европейскими династиями. Графиня Матильда де Белозеро – каково? Что Вы скажете? Не колоритно ли?"(27)

"Колоритности" в историческом видении Толстого, действительно,

хватало. Для него история неизбежно являлась в красках и образах, пройдя сквозь призму его, если можно так выразиться, аристократического свободомыслия.(28) Это свободомыслие побуждало его осуждать "московский период" в истории России, восхищаться Новгородом и Киевом, усматривать в их истории желательную параллель с итальянскими республиками средневековья, и на основе таких параллелей обосновывать свой оригинальный взгляд на истинное "славянство", которое, по его словам, должно быть "западным", а не "восточным". "Новгород, — писал он, — был республикой в высшей степени *аристократической*. Флоренция прогнала свою знать и тотчас же создала новую знать."(29)

Только в условиях такого рода "элитарного демократизма" можно было, по мысли Толстого, хранить в полной мере высокий дух гражданственности, не разменянной на мещанство и посредственность. Отсюда проистекала романтическая тоска писателя по рыцарскому идеалу прошлого, его боязнь излишней централизации в государстве. "Знаменитое военное "единство" Италии, — меланхолично замечал он, — не вернет аристократического духа республик, и никакое единство, *доведенное слишком далеко* (подчеркнуто нами — Г.Г.-Р.), не сохранит никакому краю духа гражданства. История всех объединений доказывает, что объединение и разложение — тождественны."(30) Вряд ли в этом высказывании надо усматривать, как это делает И.Г.Ямпольский во вступительной статье к Собранию сочинений Толстого (31), отрицательное отношение к факту объединения Италии как таковому; мысль в данном случае гораздо глубже: она релятивистски фиксирует тождественность и внутреннюю диалектику противоположных, казалось бы, процессов, а разве история этого не подтверждает?

Итальянские интересы Толстого в большой мере стимулировали его "европеизм", неоднократно противопоставлявшийся им плоскому славянофильству и ограниченному национализму. Можно сказать, что итальянская нота была у него одной из ведущих в той мелодии европейского мирозерцания, которую исторгал его творческий дух. Это не значит, что итальянские вкусы и симпатии Толстого не были подвержены ходу времени. Уж на что стабильным казался его музыкальный вкус, итальянизированный до предела (тот круг пристрастий, который очерчивался именами Россини, Беллини, Доницетти, отчасти Верди), но и он модифицировался. "...Я *вагнеризируюсь* все более и более, — признавался он в 1872 г. княгине Сайн-Витгенштейн, — ...мой мозг, или мои уши, или мое сердце, отверзлись для многих красот, которые до сих пор не были мне доступны; так что теперь итальянская музыка мне кажется немного бесцветна, немного холодна..."(32)

Впрочем, старые симпатии все равно довели в сознании. И в письме к жене от 28 сентября (10 октября) 1874 г. из Берлина, Толстой говоря о своем прохладном отношении к вердиевской "Аиде" — наиболее "вагнеризированной" опере Верди, признавался, что с удовольствием слушал бы Россини даже на уровне его "общих мест", которые Толстому, тем не менее, кажутся "великолепными".(33)

Продолжая эту, пришедшую столь кстати, "музыкальную" ассоциацию, и заключая ею наш разговор о значении Италии в жизни и творчестве А.К.Толстого, мы могли бы добавить, что, подобно тому, как оперной музыке Глинки или Даргомыжского — этих вполне национальных композиторов, неустраимо присущ сладостный привкус итальянской кантилены, так и в слвах творческих исканий Толстого, в формировании его идейно-эстетических концепций, "итальянский дух" вошел полноправным и блистательным компонентом, обогащая палитру щедрого таланта великого писателя русской земли.

## ПРИМЕЧАНИЯ.

1. А.К.Толстой — К.Сайн-Витгенштейн. — А.К.Толстой. Собрание сочинений. Т.4. Дневник. Письма. М., 1964, стр.289.
2. А.К.Толстой — С.А.Миллер. — Там же, стр. 63.
3. А.К.Толстой — А.Губернатису. — Там же, стр.425.
4. А.К.Толстой — С.А.Толстой 2(14) апреля 1872 г. — Там же, стр.399—400.
5. А.К.Толстой. Собр. соч., т.3, стр.16,17.
6. Там же, стр.21.
7. Там же, т.1, стр.547. Данное сходство следует отметить еще и по той причине, что исследователи творчества Толстого склонны, как это делает И.Ямпольский в примечаниях к "Портрету", отмечать влияние на поэму повести Погорельского "Черная курица" (И.Ямпольский ссылается при этом на А.Кирпичникова с его "Очерками по истории новой русской литературы"... — СПб., 1896) и не указывать на почти цитатные заимствования позднего Толстого из "самого себя раннего". Говоря об этом, мы отнюдь не забываем, что влияние Погорельского чувствуется в "Упыре".
8. В свою очередь можно предположить, что "Мадонна Рафаэля" оказала воздействие на концовку стихотворения Каролины Павловой "Ответ к...", посвященного Толстому; во всяком случае, ассоциативная связь тут налицо. — См.: Каролина Павлова. Полное собрание стихотворений. М.—Л., 1964, стр.221.
9. М.М.Стасюлевич приводит в своих воспоминаниях характерную деталь из разговора о поэме: "Пусть Андже́ло де Губернатис, — засмеялся весело Толстой, — поломайте себе голову и пороется в старых преданиях, отыскивая оригинал!" — "Вестник Европы", 1875, №11, стр.438.
10. А.К.Толстой. Собр. соч., т.4, стр.449. В письме Толстой, рассуждая о терцинах *до* Данте и *после* Данте, ссылается и на дантовские издания, и на книгу известного итальянского литературоведа Микельандже́ло Каэтани.
11. Там же, стр.444—445.
12. А.К.Толстой — А.М.Жемчужникову 28 февраля (11 марта) 1872 г., Венеция. — Там же, стр.394.

13. Там же, стр. 410, 426. Перевод романа "Князь Серебряный" (переводчики Л. Задлер и Г. Патуци) сначала был опубликован миланской газетой "Perseveranza". Затем он вышел отдельным изданием в Вероне (1874 г.): "Il principe Serebriani. Racconto dei tempi di Giovanni il Terribili". Высоко оценивая работу переводчиков, Толстой писал Стасюлевичу в 1873 г.: "Все архаизмы, все идиотизмы и все сказочные обороты сохранены." — "М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке". Т. 2. СПб., 1911, стр. 367.

14. А. К. Толстой. Собр. соч., т. 4, стр. 423.

15. Там же, стр. 426.

16. Там же.

17. В. Ф. Шишмарев. Избранные статьи. История итальянской литературы и итальянского языка. Л., 1972, стр. 290.

18. А. К. Толстой — К. К. Павловой, 13(25) декабря 1863 г., Неаполь. — Собр. соч., т. 4, стр. 159.

19. "...Начиная от Карло Пизакане и до Аузоньо Франки, от Карло Тенка до Габриэле Роза и Пачифико Валусси, в Италии постепенно формировалось целое течение, носившее то преимущественно политический, то политико-литературный характер, которое со все возрастающим интересом следило за развитием русского демократизма, народничества или просто за жизнью России, за ее обществом и литературой. Россией и славянскими народами в самом широком плане, как известно, глубоко интересовались такие деятели, как Мадзини и Кавур." — Джузеппе Берти. Итало-русские отношения с 1826 по 1860 год. — В кн.: Россия и Италия. Из истории русско-итальянских культурных и общественных отношений. М., 1968, стр. 153.

20. Стоит сравнить это с отношением И. С. Тургенева. Как свидетельствует П. В. Анненков, "письма его (т. е. Тургенева — Г. Г. -Р.) от этой эпохи наполнены восторженными восклицаниями: **evviva Italia, evviva Garibaldi...** — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1960, стр. 428.

21. А. К. Толстой — А. М. Жемчужникову, 28 февраля (11 марта) 1872 г., Венеция. — Собр. соч., т. 4, стр. 394.

22. Там же, стр. 290.

23. Там же, стр. 289.

24. Там же. К Риму вообще у Толстого было особо лирическое чувство. Оно ярко выразилось в нежных, прямо "баюкающих" строках его письма к жене от 22 августа (3 сентября) 1866 года: "Давай говорить о Риме, и как там было хорошо; когда ты отдохнешь, мы опять туда поедem... Дай Бог, чтобы оно было так... И мы поедem опять по дороге в *Остию* и будем видеть светлых букашек и больших быков и хороших мужичков в косматых панталонах. И вдаль увидим горы, которые не то горы, не то облака, не то музыка, не то запах цветов. И услышим, как жаворонки поют и как кричат ослы. И поедem по улицам, и там будет скверно пахнуть, а потом приедem к какой-нибудь церкви, и нас впустит живописный монах, и мы увидим мозаики и пол из **opus alexand-**

**rinum** И в Колизей пойдем пешком...И в галереи мы станем ездить... Пойдем опять ночью бегать на **Piazza del popolo** с завязанными глазами, а мраморные львы будут шуметь, шуметь фонтанами, и месяц выйдет из-за **Monte Pincio**". –Поистине почти тургеневское описание!

25.А.К.Толстой – Н.А.Чаеву, 30 декабря 1866. –Там же, стр.195.

26.Там же, стр.398.

27.Там же, стр.270-271.

28.Одновременно следует отметить его усиленные и достаточно глубокие занятия в области исторической науки как таковой, хорошее владение источниками. Например, интересуясь Венецией, он читал специальные книги по истории дипломатии Венецианской республики. – См.: Письмо С.А.Толстой от 10(22) июля. – Там же, стр.158.

29.Там же, стр.336.

30.Там же, стр.398.

31.Т.1, стр.16.

32.Собр. соч., т.4, стр.396-397.

33.Там же, стр.430.

\* \* \*

В сентябре этого года исполнилось 100 лет со дня смерти великого русского писателя графа Алексея Константиновича Толстого. Блестящий продолжатель пушкинской традиции, прославленный автор романа "Князь Серебряный", знаменитой драматургической трилогии ("Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис"), прекрасных стихов и поэм, А.К.Толстой по праву занял почетное место в русской классической литературе в ряду таких имен, как Тютчев и Фет, Майков и Полонский – имен блестящих и *пушкински значимых*.

В Советском Союзе существует тенденция к искусственному "занижению" А.К.Толстого – уж слишком не укладывается он "в рамки" официального советского литературоведения. Поэтому тем более оправданным является интерес и уважение к его имени со стороны интеллигенции русского Зарубежья.

Этому интересу соответствует статья филолога Г.А.Гидони–Румянцевой, посвященная одной из не изученных сторон биографии Алексея Константиновича Толстого.

Редакция

М У З Ы К А

Ветер идет по крыше,  
Слезится на жизнь окно.  
Тельце летучей мыши  
Погодой принесено.  
Прямо дается в руки,  
Возьми, подыши, согрей.  
Глазки полные муки  
Становятся всё теплей.  
Жизнь человека входит  
В божественные права,  
Вместо громких рапсодий  
Мышиная голова.  
Музыка зрела, грела,  
И человека рука  
Музыкой новой пела  
Над блюдечком молока.

1965

\* \* \*

С Т А Р О С Т Ы

Остановись на той своей версте,  
Где снег лежит на огненном кусте,  
И облака плывут к своей заре,  
И робко догорают на горе.

И жизнь идет чрез этот снег и зной  
К блаженной утомленности земной.

\* \* \*

## ЛАБРАДОР

Сентябрь наносит много снега  
И льдом тревожится река.  
Как над Печерой и Онегой,  
По елкам ходят облака.

Не поднимая к небу взора,  
Но к свету вечному спеша,  
Через древний холод Лабрадора  
Земная движется душа.

\* \* \*

## ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР

Прилетают пчелки на могилу,  
Розмарина навещают куст.  
Он цветет с весенней дерзкой силой  
Тысячью полураскрытых уст.

В день октябрьский пасечник богатый  
Вынет вязкий золотистый мед,  
И жена в больничную палату  
Каплю меду мужу принесет.

То привет неведомому другу  
И с твоей могилы, старый друг.  
Так любовь благословенным плугом  
Пашет землю бедную вокруг.

\* \* \*

СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ

1913 год

(Печатается впервые)

Колокола гудели.

Графиня фон Пиксафон попудрила свои губы и кокетливо улыбнулась.

— Стук-стук! — раздался стук, и в дверь просунулась чья-то выхоленая борода.

— Войдите, — сказала графиня по-французски.

— Мерси, — сказала борода входя.

Это была борода никто иная, как барон Штепсель.

— Ах! — подумала графиня фон Пиксафон, падая без чувств.

— Осторожней падайте, графиня! — раздался чей-то голос из-под кровати.

Это был голос никто иной, как Васька Хрящ, который хотел ограбить графиню, но раскаявшись в своих преступлениях, он решил предаться в руки правосудия.

— Ах! — сказала графиня по-французски, падая без чувств.

— В чем дело? — воскликнул барон, наставляя на Ваську револьвер с пулями.

— Вяжите меня! — хрипло сказал Васька, зарывав от счастья.

И все трое обнялись, рыдая от счастья.

А там, вдали, за окном плакал чей-то полузамерзший труп ребенка, прижимаясь к окну.

Колокола гудели.

1915 год

В воздухе свистели пули и пулеметы. Был канун Рождества.

Прапорщик Щербатый поправил на загорелой груди Георгиевский крест и вышел из землянки, икнув от холода.

— Холодно в окопах! — рассуждали между собой солдаты, кутаясь в противогазовые маски.

— Ребята! — сказал им прапорщик Щербатый дрогнувшим голосом.

— Кто из вас в эту рождественскую ночь доползет до проволоки и обратно?

Молчание воцарилось в рядах серых героев.

Прапорщик Щербатый поправил на груди Георгиевский крест и, икнув от холода, сказал:

– Тогда я доползу... Передайте моей невесте, что я погиб за веру, царя и отечество!

– Ура! – закричали солдаты, думая, что война кончилась миром. Прапорщик Щербатый поправил Георгиевский крест и пополз по снегу, икая от холода.

Вдали где-то ухал пулемет.

– Ура! закричали серые герои, думая, что это везут им ужин.

1920 год

Приводные ремни шелестели.

Огромные машины мерно стучали мягкими частями, будто говоря: сегодня сочельник, сегодня елка...

– Никаких елок! – воскликнул Егор, вешая недоеденную колбасу на шестеренку.

– Никаких елок! – покорно стучали машины. – Никаких сочельников!

В эту минуту вошла в помещение уборщица Дуня.

– Здравствуйте, – сказала она здоровым, в противовес аристократии, голосом, вешая свою косынку на шестеренку.

– Не оброните колбасу! – сказал Егор мужественным голосом.

– Что значит мне ваша колбаса, – сказала Дуня, – когда производство повысилось на 30%?

– На 30% – воскликнул Егор в один голос.

– Да, – просто сказала Дуня.

Их руки облизались.

А вдали где-то шелестели приводные сыромятные ремни.

1923 год

Курс червонца повышался.

Нэпман Егор Ньюшкин, торгующий шнурками и резинками, веселился вокруг елки, увешанной червонцами.

Огромное зало в три квадратных сажени по 12 рублей золотом по курсу дня за каждую сажень было начищено и сияло полотерами, нанятыми без биржи труда.

– Ана, – подумал фининспектор, постукивая.

– Войдите, – сказал торговец, влезая на елку, думая, что это стучит фининспектор, и не желая расстаться с червонцами.

– Здравствуйте, – сказал фининспектор, разувая галоши государственной резиновой фабрики "Треугольник", по пять с полтиной золотом за пару по курсу дня, купленные в ПЕПО с 20% скидкой. – А где же хозяин?

– Я здесь, – сказал хозяин, покачиваясь на верхней ветке.

– Слазь отседа! – сказал фининспектор, сморкаясь в чистую бумажку. – Я принес вам обратно деньги, переплаченные вами за прош-

лый месяц.

— Ну? сказал нэпман Ньюшкин, качаясь.

В этот момент хрупкое дерево, купленное из частных рук, не выдержало и упало, придавив своей тяжестью корыстолюбивого торговца. Так наказываются жадность и религиозные предрассудки. Вносите же подоходный налог.

## СЛОНОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Зощенко о себе

Жил я, запомнил, в деревне Большие Кабаны. Дом каменный строил. Ладно. Строил.

Навез кирпичей. Телеграмма: началась германская кампания — пожалуйста бриться.

Сбросил я кирпичи в сторону, собрал свое рухлядишко (штаны кой-какие) и пошел тихонько.

Только иду я лесом — слон на мене.

— Ах ты, — думаю, — так твою так. Да. Слон.

А он хоботьем крутит и гудит это ужасно как.

Очень я испугался, задрожал. А он думает, что это тигр задрожал, и гудит еще пуше.

Оглянулся я по сторонам, поблевал малехонько, смотрю — канава. Лег в канаву и дышу нешибко.

Только лежу нешибко — лягуха зелененькая за палец меня чавкает.

— Ах ты, — думаю, — так твою так. Лягуха.

А она всё чавкает.

— Ты что это, — спрашиваю, — за палец-то мене, дура, чавкаешь?

А она ужасно так испугалась и на верех. Я за ней на верех, а в полшаге — мертвое тело. Лежит и на меня глядит.

Поблевал я малехонько и задрожал.

Только дрожу — смотрю, передо мной германский фронт.

— Ну, — думаю, — началась кампания — пожалуйста бриться.

Только я так подумал, прилег на фронт — великий князь мене к себе кличут.

Поблевал я малехонько, а он такое:

— Очень, — говорит, — ты героический человек, становись, например, ко мне придворным паликмахером.

Стал я к нему придворным паликмахером, цельные сутки, например, его брею, а он восхищается и всё ему мало.

Только вдруг вбегает человек.

— Перестаньте, — кричит, — бриться. Произошла, говорит, февральская революция.

Оглянулся я по сторонам, поблевал малехонько и тихонько вышел.

\*\*\* \*\*

## О "СЕРАПИОНОВЫХ БРАТЬЯХ"

Виктор Шкловский

Вязка у них одна – "Серапионовы братья". Литературных традиций несколько. Предупреждаю заранее: я в этом не виноват.

Я не виноват, что Стерн родился в 1713 году, когда Филдингу было семь лет.

Так вот, я возвращаюсь к теме. Это первый альманах – "Серапионовы братья". Будет ли другой, я не знаю.

Беллетристы привыкли не печататься годами. У верблюдов это поставлено лучше (см. Энцикл. слов.).

В Персии верблюд может не пить неделю. Даже больше. И не умирает. Журналисты люди наивные – больше года не выдерживают.

Кстати, у Лескова есть рассказ: человек, томимый жаждой, вспарывает брюхо верблюду перочинным ножом, находит там какую-то слизь и выпивает ее.

Я верблюдов люблю. Я знаю, как они сделаны.

Теперь о Всеволоде Иванове и о Зоценко. Да, кстати, о балете.

Балет нельзя снять кинематографом. Движения неделимы. В балете движения настолько быстры и неожиданны, что съемщиков просто тошнит, а аппарат пропускает ряд движений.

В обычной же драме пропущенные жесты мы дополняем сами, как нечто привычное.

Итак, движение быстрее одной седьмой секунды неделимо.

Это грустно.

Впрочем, мне всё равно. Я человек талантливый.

Снова возвращаюсь к теме.

В рассказе Федина "Песьи души" у собаки – душа. У другой собаки (суки) тот же случай. Прием этот называется нанизыванием (см. работу Ал. Векслера).

Потенция этого не знал. А Стерн этим приемом пользовался. Например: "Сентиментальное путешествие Иорика"...

Прошло 14 лет...

Впрочем, эту статью я могу закончить как угодно. Могу бантиком завязать, могу еще сказать о комете или о Розанове. Я человек не гордый.

Но не буду – не хочу. Пусть Дом литераторов обижается.

А сегодня я шел по Невскому и видел: как трамвай задавил старушку. Все смеялись.

А я нет. Не смеялся. Я снял шапку (она у меня белая с ушками) и долго стоял так.

Лоб у меня хорошо развернут.

ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН

ТРАГЕДИЯ МАГИСТРА СМЕХА

*Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единственно и нераздельно.*

*Александр Блок*

1

27 сентября 1930 года арестовали в Москве моего отца. В том году я впервые увидел Зошенко.

В последний раз простился с ним на похоронах в Ленинграде.

Для любого знакомства двадцать восемь лет-срок немалый. Он знал меня ребенком, школьником-подростком, юношей, человеком зрелых лет.

Наезжая в Москву, Зошенко приходил в наш "опустелый дом". Михаил Михайлович с нежностью относился к отцу, редактору его книг.

В те трудные расстрелянные годы внимание постороннего к семье "врага народа" рассматривалось как наивысший критерий порядочности.

Я часто смотрю на его последнюю прижизненную фотографию, с наслаждением перечитываю его нестареющие книги и всякий раз нахожу в них своеобразную яркость и неповторимую самобытность.

11

Редакция журнала "Юность" поручила взять у Зошенко интервью. В Ленинграде его не оказалось. С фотокорреспондентом Уваровым мы поехали к нему на дачу в Сестрорецк.

Редактор журнала Валентин Петрович Катаев беседу забраковал.

— Вместо разговора о боевой сатире у вас получилась сентиментальная размазня. Не пойдет!

Беседа с Михаилом Зошенко сохранилась в моих блокнотах.

111

Когда мы пришли в его скромный дом, ему не хотелось говорить. Его жена Вера Владимировна всячески пыталась оградить писателя от интервьюеров. Зошенко меня узнал. Грустные глаза его потеплели. Говорил он тихо, спокойно, без нарочитого пафоса и без рисовки. Михаил Михайлович предложил пойти в сад. На дворе стояло бабье лето. Утренняя свежесть располагала к беседе. Меня поразили вид писателя.

Тонкие паутинки морщин избороздили его лицо, взгляд красивых глаз перестал быть живым и острым. Грусть и тоска о навсегда ушедшем и невозвратимом наложили на него свой отпечаток. Чувствовалось, что старые раны, болезнь сердца, личные переживания нещадно грызут его надломленный организм. Отсюда отчужденность, меланхолия, апатия. Мы привезли с собой две бутылки армянского коньяка.

— К сожалению, пить мне нельзя. Врач разрешает молоко, кефир, некрепкое кофе один раз в неделю и слабозаваренный чай.

Русалочьей походкой вошла Вера Владимировна. Она принесла поднос с завтраком: молоко, простоквашу, брынзу, сыр, творог, масло, боржоми, тоненькие ломтики поджаренного хлеба.

— Вы хотите знать, что со мной произошло после гражданской войны и революции? Этот отрезок времени почему-то всех интересует. Уверен, что писать будут только после моей смерти. Такова эволюция человеческой природы.

Зощенко передохнул. Ел он медленно. Из-за мнительности тщательно разжевывал каждый кусочек. Без конца протирал стерильной салфеткой ложки, вилки, ножи. Боялся микробов.

— Первая мировая война парализовала мое нутро. Я навсегда потерял чувство ориентира. Иногда наступало затишье, а потом опять начинал преследовать какой-то необъяснимый зловещий рок. Я нигде не мог найти успокоения, словно Агасфер, менял города, деревни, села, хутора. Забрел в Архангельск. Поморы бесхитростные люди. С ними хорошо, беззаботно, весело. На побережье Ледовитого океана, в старинном русском городке Мезень встретил синеокою красавицу Ладу. В двадцать три года она имела троих сыновей. Муж пошел в море за сельдью и не вернулся. Лада же верила, что он пропал и каждый день ждала его. Таких красивых не довелось мне видеть. И попросил молодую женщину разделить со мной одиночество. "А что будет потом? — спросила она. "Пройдут восторги первых ночей, наступит обыденность, вас потянет в Ленинград или Москву". Я упрямо твердил свое, что она не должна оставаться в заброшенном крае, где кроме ледяного душа холода ничего нет. "Ошибаетесь, Михайл Михайлович," проговорила Лада протяжно, "у меня есть три сына, три богатыря — Петр, Александр, Николай; чтобы счастливыми были, нарекла их царскими именами. Кроме того, есть книги, иконы, Библия, вера в Бога, скажите, разве этого мало?" Я ничего не мог с собой поделаться, мне всё нравилось в этой женщине: и легкая воздушная походка, и певучая образная русская речь, и то, как она работала — убирала, готовила, стряпала. Лада всё делала с удовольствием, никогда не жаловалась. Поздно вечером, когда засыпали дети, Лада брала старенькую гитару. Она знала множество старинных песен и романсов. Трудно было понять, откуда у нее брались силы, какие соки напивали ее светлую душу.

Лада жила в крае вечной мерзлоты, где летом зима и весной зима. Однажды она отпръзилась в лавочку за керосином. Стемнело. Захлестывала метель. Лада ускорила шаг. В шуме ветра почувствовала, ско-

рее интуитивно, что ее кто-то тяжело нагоняет. Остановилась. В нескольких шагах от нее возвышалась полутонная глыба белой медведицы, которая сверлила женщину пуговичными глазками. Начался поединок. Лада кинжалом, с которым никогда не расставалась, убила медведицу. Целый год у нее в доме было мясо.

Как-то за ужином я спросил: "Лада, вот вы говорите про веру в Бога, подчеркиваете свое с ним единение, не забываете молиться, с детства совершаете обряды – а Он забрал у вас любимого человека, вашего единственного мужчину, отца ваших детей?" Женщина спокойно ответила: "Мой отец священник, последователь патриарха Тихона. Его с матушкой большевики расстреляли. Мы пековичи. Простите за откровенность, если что не так.."

Я поехал в Новгород, затем два месяца жил в монастыре под Псковом. Ездил к Пушкину в Михайловское. Потом последовали Курск, Брянск, Клинцы, Орёл, Владимир, Суздаль, Тамбов, исколесил Смоленскую губернию и снова вернулся в Петроград.

– Удалось ли вам хоть в какой-то степени найти в писательстве покой?

– Читательская масса в моих рассказах искала голый смех, попросту говоря, им хотелось "поржать, да животики надорвать". Людские страдания, нечистоплотность жизни остались за кадром, даже маститые критики не хотели понимать моего душевного крика...

## 1У

Писательский союз направил Зошенко в "творческую командировку" на Беломорско-Балтийский канал. На лагерном пункте в Май-Губе он случайно увидел Ладу.

– Отравление газами и немывтая Лада в продырявленной телогрейке – самое тяжкое потрясение, – сказал Зошенко. – Я спросил ее про сыновей. Безразличным голосом Лада ответила, что ничего о них не знает. Вернувшись домой, я послал Ладе посылки с продуктами, теплые вещи, деньги. Мне хотелось написать повесть о женщине-лагернице и прообразом сделать Ладу, но из этого замысла ничего не получилось. Не я в этом виноват. Юморист во мне давно умер. Остался живой скелет в образе человека, который с трудом доживает свой век, начертанный временем и Судьбой.

Повеяло прохладой. Мы вернулись в дом. Вера Владимировна ушла на базар. Зошенко почувствовал себя свободней. В присутствии жены ему не хотелось говорить. В его рабочей комнатке на письменном столе лежали книги – Фрейда, Кафки, "Дневники" Достоевского, "Агасфер" Эжен Сю. С закладками рукопись повести "Перед восходом солнца".

## У

Во время Второй мировой войны Зошенко эвакуировали в Алма-Ату. Москвичи и ленинградцы, киевляне и одесситы, именитые деятели

литературы и искусства чаще всего встречались на толкучке, где можно было всё продать и купить.

По вечерам снедаемый тоской Зоценко приходил в нетопленный павильон киностудии, где полуголодный Сергей Михайлович Эйзенштейн снимал своего "Ивана Грозного".

Художники подружились.

Они умели оба молчать и слушать тишину.

Михаил Михайлович пригласил Эйзенштейна, Виктора Шкловского, Елену Булгакову и меня послушать только что законченную повесть.

– Я не пророк, – сказал Эйзенштейн, – но по-хорошему завидую. Книга ваша переживет поколения.

Темпераментный Виктор Борисович Шкловский, почесав ручкой затылок отполированной головы, проговорил, захлебываясь скороговоркой:

– Миша, ты написал лучшую свою книгу, но она не ко времени. Или ты станешь великим, или в тебя начнут кидать крапиву.

Внимательная и заботливая Елена Сергеевна где-то раздобыла бутылку водки и из своей каморки принесла большую тарелку оладий. Все набросились на еду. В одно мгновение опрожнили заветную бутылку. Эйзенштейн в портфеле обнаружил полпачки чая и несколько кусочков пиленого сахара.

Елена Сергеевна тихо сказала:

– Михаил Афанасьевич Булгаков вашу повесть поставил бы на полку с самыми любимыми книгами.

Зоценко благодарно кивнул, потом глухо проговорил:

– Я всегда бережно относился к тому, что написал достойнейший из писателей, Михаил Булгаков...

## У1

Журнал "Октябрь" напечатал повесть Михаила Зоценко "Перед восходом солнца" в шестом и седьмом номерах за 1943 год. В России она больше не переиздавалась. На второй день после выхода в свет эти номера журналов стали библиографической редкостью. Из библиотек – районных, городских, областных, публичных и прочих – они давно изъяты и преданы анафеме. Хотя литературоведы-"зоценковеды" не забывают на нее ссылаться, но стараются не упоминать название.

11 декабря 1943 года в ЦК ВКП(б) состоялось обсуждение повести Зоценко. С резкой критикой выступил Александр Фадеев. Собачий визг поднял в печати Николай Семенович Тихонов, который в далекой молодости числился в "Серapiroновых братьях", а потом переквалифицировался, стал факельщиком-трубадуром холодной войны. Он бил словесным кастетом живых и мертвых.

## У11

– Редакция детского ежемесячного журнала "Мурзилка", – про-

должает Зощенко, — попросила дать им для публикации "какой-нибудь смешной рассказ". Я ответил по телефону: "Рассказ непременно пришло в самое ближайшее время, но не уверен, что он будет очень смешным, скорее печальным."

Так на страницах журнала "Мурзилка" появился безобидный рассказ "Приключение обезьяны". Этот рассказ понравился Виссариону Саянову, главному редактору журнала "Звезда". Не согласовав со мной, он в порядке самостоятельности перепечатал мой рассказ про злополучную обезьянку. Саянов был уверен, что для меня это приятный сюрприз.

Финал не заставил себя ждать.

Вы, очевидно, слышали о постановлении ЦК ВКП(б) и о докладе Жданова?..

## У111

В августе 1946 года его исключили из писательского союза.

— Со дня на день я ждал ареста. Жизнь для меня потеряла всякий интерес. Изредка приходила Анна Андреевна Ахматова, еще реже Веньямин Александрович Каверин, морочил голову занудный Леонид Борисов, который утомлял меня неправдоподобными рассказами о Грине. Для того, чтобы не умереть с голоду, приходилось заниматься переводами, — с грустью говорил писатель.

"Это продолжалось около десяти лет! И все эти десять лет Зощенко работал, как настоящий художник, он понимал, что его единственное спасение — работа. Он работал каждый день. Он писал пьесы, писал фельетоны, которые возвращались автору с вежливыми отказами. Он писал письма Сталину, в которых требовал справедливости. Писал, но не получал ответа." (1)

Только в конце 1953 года, когда в живых уже не было ни Жданова, ни Сталина, его вновь приняли в писательское лоно.

## 1X

В марте 1956 года он приехал на несколько дней в Москву.

— Дня четыре побуду, а потом уеду домой, — сказал нам с женой Михаил Михайлович. — Поездки стали тяжким испытанием. В поездках вечная бессонница, а самолеты — сущая мука.

Один вечер он провел у нас. Лида сделала его любимый фасолевый суп и судак по-польски. Зощенко, полулежа на тахте, с наслаждением слушал в грамзаписи "Реквием" Моцарта. Потом сказал, что год назад в это же самое время на своей подмосковной даче его принимал Александр Фадеев.

— По сути дела простой мужик, а как зазнался, кроме подхалимов никого к себе не подпускает. Встретил меня холодно. Аудиенция продолжалась не более пяти минут. — Я получил ваше письмо, — прогово-

рил Фадеев, — относительно переиздания повести "Перед восходом солнца". Как всегда, буду откровенным. Мы относимся к ней отрицательно и всячески будем возражать против ее печатания. Для советских людей фрейдизм никогда не станет символом. Мы против упадничества и по горло сыты достоевщиной...

Зощенко попросил нас поехать с ним в Новодевичий монастырь. В последний день он поехал в Загорск. Он очень любил Лавру Троице-Сергиева монастыря.

## Х

Зощенко тяжело умирал. Не выдержало натруженное, много испытанное сердце. Он умер 22 июля 1958 года.

Тысячные толпы провожали любимого писателя в последний скорбный путь.

Самый красивый веночек принесла седая женщина с остатками былой красоты. С Ладой Крестьяниновой меня познакомила Вера Владимировна. На венке алела надпись: *Михаилу Зощенко вечная память. Солнце твое взойдет и никогда не померкнет. Твоя вечная раба — Лада Крестьянинова...*

Так жил и умер некоронованный Магистр Смеха, один из могикан русской литературы — Михаил Михайлович Зощенко.

1960-1975

\* \* \*

(1) В. Каверин, "За рабочим столом", Новый Мир 1965, №9, стр. 155

ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН

## ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В е р а И н б е р

### ПАДЕНИЕ.

Москва...

Улица Воровского...

Центральный дом кино...

Зал, вмещающий 1200 человек переполнен. Люди стоят в проходах. Ярko освещен президиум. В ложах разместились секретари московского городского комитета партии, сотрудники отдела печати министерства иностранных дел, редакторский синклит центральных газет.

В этом зале 31 октября 1956 года под председательством С.С. Смирнова и К.М. Симонова состоялось "расширенное" собрание московских писателей, на котором обсуждалось "нелояльное поведение" Бориса Леонидовича Пастернака, будущего лауреата Нобелевской премии. Среди выступающих ораторов-"разоблачителей" – Вера Михайловна Инбер.

После выступления Инбер в зале поднялся невообразимый шум. Писатели разных категорий освистали оратора. Но это не помешало Вере Михайловне выступить по Московскому радио 3 ноября. Ее выступление транслировалось по всем программам, а вечером передавалось по Центральному телевидению.

"Я стала ленинградкой в дни Отечественной войны, – сказала Инбер, – Всю блокаду провела в городе Ленина. Мой патриотизм известен, он достаточно хорошо отражен в поэме П у л к о в с к и й М е р и д и а н и в книге П о ч т и т р и г о д а. За эти произведения я была удостоена Государственной премии. Почему я сегодня об этом говорю? В наших рядах писателей-бойцов не было Пастернака. Он мирно почивал сначала в загородном доме в Переделкино, потом в эвакуации в Чистополе. Страна истекала кровью, а он "творил," переводил Шекспира и своих любимых грузинских поэтов. Его поэзия всегда была мне чужда, антипартийна. Роман Д о к т о р Ж и в а г о произвел гнетущее впечатление. Пастернак замахнулся на советский народ, на завоевания великого Октября, оклеветал коммунистическую партию, посягнул на великого Ленина..."

## СТРОКИ ИЗ ПИСЬМА

Ленинград, 17 февраля 1943 г.

Дорогая доченька Жанночка!

В скромной посылочке, которую нам удалось отправить с оказией, ты найдешь 4 килограмма сливочного масла, 2 кило краковской колбасы, шоколад "Золотой ярлык", 3 килограмма сахара и твои любимые конфеты "Мишки" из старых запасов.

Доченька, масла не жалея, ешь сколько хочешь, ты не поверишь, здесь за кусочек хлеба можно получить рояль. Нам удалось собрать удивительную коллекцию старого фарфора, великолепную бронзу. У нас дома — "скупочный пункт". Мы всё вымениваем на продукты, деньги потеряли всякую ценность. Библиотека тоже растет. Кончится война, ты увидишь какое у нас будет уютное гнездышко.

Целую свою ненаглядную девочку Жанночку,

твоя Мама

Это письмо Вера Инбер послала в Алма-Ату своей дочери, писательнице Жанне Гаузер.

## НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ИНТЕРВЬЮ

1945 год...

Отгремели залпы орудийных салютов. На израненную российскую землю пришел долгожданный мир.

На радио, где я сотрудничал, предложили сделать очерк-репортаж "О знаменитой женщине".

По телефону позвонил бывшему послу СССР в Швеции Александре Михайловне Колонтай. Ее верный "оруженосец", секретарь и помощник Эми Генриховна Лоренсон после короткого совещания с "хозяйкой" назначает день встречи.

С громоздким магнитофоном "Репортер" еду на большую Калужскую. Парализованная Колонтай зовет в кабинет. Она сидит на передвижном кресле. В руках у нее томик Генри Лонгфелло "Песнь о Гайавате".

Уютный кабинет, книги, картины, фотографии. На столе бронзовое распятие. На стене в серебряной раме с королевским гербом и дарственной надписью портрет короля Швеции Густава V.

Александра Михайловна неторопливо рассказывает о бурно прожитой жизни, о неосуществившейся мечте...

В разгар беседы Лоренсон доложила, что "приехали товарищи Инбер и Страшун."

— Вера Михайловна не даст нам закончить беседу, — раздраженно

проговорила Колонтай. – Ее знаю очень давно. Она гостила у нас в Швеции летом 1934 года. На свою голову я предложила Инбер быть гостьей посольства. Мы вздохнули после ее отъезда...

Вошла изящная "европеяночка", за ней грузно ступал высоченный здоровяк – её муж, генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Эстраун, который в дни блокады был начальником госпиталей Ленинградского военного округа.

Прошу у Колонтай разрешения посетить ее вторично. Перебивает Инбер:

– Вы из радио, молодой человек? Очень хорошо! Хотите сделать со мной интервью? Запишите адрес, я живу в Лаврушинском переулке, в доме писателей, рядом с Третьяковской галереей, звонить лучше всего утром или поздно вечером.

## В ЛАВРУШИНСКОМ У ВЕРЫ ИНБЕР

Маленькая фанерная дощечка. На ней печатными буквами выжжен абзац из романа Льюиса Синклера "Эрроусмит":

"Боже, дай мне незатуманенное зрение и избавь от поспешности. Боже, дай мне покой и нещадную злобу ко всему показному, к показной работе, к работе расхлябанной и незаконченной. Боже, дай мне неуговорность, чтобы я не спал и не слушал похвалы, пока не увижу, что выводы из моих наблюдений сходятся с результатами моих расчетов, или пока в смертной радости не разоблачу и не открою свою ошибку. Боже, дай мне сил не верить в Бога!"

Эту дощечку я увидел в кабинете Инбер. Она была прикреплена к стене. И точно такая же дощечка была прикреплена к письменному столу в кабинете Колонтай.

Я предложил Инбер экранизировать для телевидения ее рассказ "Соловей и Роза".

Вера Михайловна заплакала:

– У меня нет сил. Болят руки. Совсем не могу писать. Дрожат пальцы. С трудом диктую секретарю. Сценарная работа отнимает много времени. Простите, не могу. Инбер – уже не та.

– А к столетию Владимира Ильича Ленина вы могли бы что-нибудь сделать? –

Инбер оживилась. Слезы высохли. Она стала обаятельной и внимательной:

– Это совсем другое дело. О Ленине я всегда пишу с наслаждением.

## В ПЕРЕДЕЛКИНО У ВЕРЫ ИНБЕР

15 октября 1969 года.

Двухэтажная дача Инбер.

Писательнице 79 лет. Она почти ничего не видит, перелвигается наошупь. Пришло в о з м е з д и е. От рака одиноко умерла в Ленин-

граде единственная дочь. Мучаясь, медленно уходил в мир иной Страшун.

На туалетном столике у изголовья увидел книгу " Стихотворения и Поэмы" Пастернака с предисловием Андрея Синявского.

Спрашиваю:

Как вы относитесь к Борису Леонидовичу Пастернаку?

—Когда-то увлекалась декадентами, позже пришли Дмитрий Ме-режковский, Игорь Северянин, Зинаида Гиппиус, потом Блок и на всю жизнь Пастернак.

С ужасом смотрю на сморщенную, пожелтевшую старушку. Красными, словно от распаренной свеклы, прыщавыми руками она гладит сборник стихов полуопального, раздавленного поэта.

Промолчать не мог. Напоминаю о собрании, на котором "инженеры человеческих душ" осудили великого поэта, и ее выступлении по радио.

— Бог меня жестоко наказал. Пропорхала молодость. Зрелость ушла, она прошла безмятежно: путешествовала, любила, меня любили, встречи были вишнево-сиреневые, горячие, как крымское солнце. Старость надвинулась беспощадная, ужасающе-скрипучая.

Плачущая Инбер просит подвести к шкафу. С шеи снимает золотую цепочку, миниатюрным ключиком-медальоном открывает книжный шкаф, в котором хранятся авторские экземпляры ее книг.

— Здесь разные эпохи, здесь разная Инбер...

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

На сей раз Вера Инбер оказалась права. Действительно она была разной:

Не то, что я жена и мать,  
Поит душа сухие нивы:  
Мне нужно много тосковать,  
Чтоб быть спокойной и счастливой.

Мне нужно, вставши по утрам,  
Такой изведать страх сердечный,  
Как будто я сейчас умру  
И не узнаю жизни вечной.

Одесса, 1917 год.

И то, что было некогда уколом  
На мякоти румяного плода,  
Становится ранением тяжелым —  
Но эти раны благодетны всегда.

Из стихотворения,  
посвященного Н.  
Крандиевской, Мос-  
ква, 1918 год.

Дрожа и тая проплывают челны;  
Как сладостно морское бытие.  
Как твердые и медленные волны  
Качают тело легкое мое.

Константинополь,  
1919 год.

Господь, благожелательный к трудам,  
Беди меня, учи меня, как надо,  
И дай моим размерам и словам  
Упругость яблока и сладость винограда.

Одесса, 1920 год.

А сама потом, когда увидела:  
— Не уйти, —  
Всех, кого любила, ненавидела  
На пути,  
Разметала всех, как листьев ворохи,  
Из конца в конец.  
Лишь остались шелесты и шорохи  
Двух сердец.

1919 год.

А потом появились однотомики, двухтомики, трехтомики стихотворений, поэм, путевых очерков, воспоминаний, рассказов, дневников.

"Главная моя книга, — писала Инбер в своей Автобиографии, — "Апрель", сборник стихотворений о Ленине, человеке, которого буду любить вечно".

В блокадном Ленинграде Вера Инбер вступила в коммунистическую партию. Другая поэтесса — Ольга Федоровна Берггольц, пережившая советскую каторгу, смерть ребенка, рожденного в тюрьме, расстрел мужа, в тот страшный год писала в Ленинграде:

...Могильщики, торгующие хлебом,  
Полученным от вдов и матерей.

Когда однополчане Веры Михайловны Инбер умирали в осажденном городе от дистрофии, у нее не дрогнули руки, чтобы послать продукты дочери и кощунственное письмо, которое хранится в моем архиве.

В 1957 году Инбер написала стихотворение "Свет Ленина":

И каждый, кто счастлив по праву,  
Откликнется сердцем своим:  
– Великому Ленину слава  
И партии, созданной им!

## ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСЕДЫ

– Вера Михайловна, я могу задать вам любой вопрос?

– Теперь да.

– Простите, вы когда-нибудь были искренни?

– Хотите вырвать самое страшное признание? Нет, оно уйдет со мной в вечность. К счастью, недолго осталось ждать.

Она выпила чашку подогретого вина. Желто-лимонное лицо покрылось испариной. Подслеповатыми щелочками некогда красивых глаз взглянула на меня:

– До 1928 года была сама собой, – ее прорвало, на миг оживилась, – захлестнули конструктивисты, Авербахи, пятилетки, депутатство, стройки, каналы, колхозы, Турксиб, совхозы, Армения. Стихи о Ленине кроме денег дали возможность снова увидеть Париж, встретиться с человеком, которого так любила в юности; побывать в Швеции, Германии, Италии, поехать на Восток. В Токио владелец фешенебельных ресторанов предложил мне стать... гейшей, обещал баснословные гонорары... Партийный билет от многого спас, а блокадные дневники дали Сталинскую премию.

– А вы не боитесь об этом говорить?

– Может быть, встретимся на том свете, тогда беседу продолжим. Там увижу тех, кто вселил в мою душу вечный страх и боязнь. И она тихо, шепотом произнесла фамилию Каменева. – Он мой роственник.

Она зарыдала.

Когда успокоилась, злобно прошипела:

– Вы довольны полученным интервью?

Она умерла в ноябре 1972 года.

За черным гробом шли, опустив головы, ее "однополчане" – "инженеры человеческих душ", растлители пера: Грибачев, Софронов, Михалков, Баруздин, Прилежаева, С. Васильев, М. Алексеев, С. Смирнов, Поздняев, Чаковский, Кочетов.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

К Ц Е Л И

Когда спокойна гладь реки, –  
В ней всё находит отраженье:  
Шатер небес, покой, движенье,  
Леса, кусты и тростники.

Картины в ней отражены  
Всегда правдиво, твердо, четко –  
Покуда ветер или лодка  
Не взбудоражат рябь волны,

Пока туман иль ночи тьма  
Не занавесят лик природы,  
Пока не бросит лед на воды  
Их ненавистница – зима.

Но что реке – зима и лед,  
Покой и ветер, свет и тени,  
И тьма и смена отражений? –  
Она течет вперед, вперед,

В затишье, в бурю, ночью, днем,  
Под зноем, под бичём метели –  
Она к своей стремится цели  
Своим испытанным путем.

Не так ли чуткая душа  
Все краски жизни отражает,  
Но направленья не меняет  
К предвечной истине спеша?

Порою гладь в ней возмутит  
Вдруг налетевшее сомненье,  
И гнев порою отраженье  
В ней исказит или затмит,

Но продолжается полет,  
Светла ль душа или уныла —  
И никакая злая сила  
Ее с дороги не собьет.

\* \* \*

М. МЮЛЛЕР-ГЕННИНГ

### И Г Р А С Р И Ф М О Й

На рассвете, в первом свете,  
По прохладе я заметил,  
что с востока веет ветер  
на рассвете.

Но дождался я заката,  
Стало всё замысловатей —  
Облака, как розы в вате  
на закате.

Ночь спустилась, всё покрылось  
Тенью, краски изменились,  
И мне снилось что-то, мнилось,  
и манило...

День настал — и заблужденья  
Разлетелись вместе с тенью.  
Как люблю эти мгновенья  
каждый день я!

## РУССКИЙ ТЕАТР ЗАРУБЕЖЬЯ

Вследствие необычайных условий жизни и душевного состояния людей, только что потерявших свое отечество, "закон" театра о "созвучии современности" не имел в эмиграции решительно никакой силы. Такой "современности", доступной для наблюдения и художественного ее отображения, попросту не было. Подлинно своя, национальная, жуткая "современность" осталась позади, вне поля зрения, а собственная, зарубежная современность для наблюдения еще не созрела и не казалась заслуживающей творческого внимания. Люди ощущали себя лишь "живым осколком России", всеми помыслами обращенными к покинутому отечеству, а в настоящем озабоченные только тем, чтобы временно как-нибудь уцепиться и переждать. Зарубежники первого "великого исхода" жили только прошлым и надеждами на будущее, которое многим представлялось возвратом к этому прошлому.

Отвечая запросам этой публики, зарубежные театры щедро преподнесли ей "видения прошлого" – и не только в классических шедеврах русской драматургии, но и в тех преходящих творениях театра, которые давно, задолго до революции, успели отзвенеть, сойти со сцены и были позабыты, а теперь вновь обрели жизнь.

Широкому размаху зарубежной театральной деятельности способствовало и еще одно, по существу, отрицательное и печальное обстоятельство, а именно, невозможность существовать профессионально, то есть, прежде всего, содержать труппу. Жить в отрыве от русского театра в эмиграции драматические актеры не могли. Мы знаем, как будто, только два исключения – Рижский Драматический Театр и Пражскую Группу Московского Художественного Театра, коммерчески опирающуюся, в силу своего громкого и знаменитого титула, не на бегенство, а на иностранную публику. Группа эта, постепенно теряя лучшие свои силы и очень скудно обновляя свой репертуар, закончила свое существование в первой половине 20-х годов. Однако наличие в эмиграции великого множества крупных и блестящих актеров и режиссеров "старого закала", сглаживало многие недочеты "любительских антреприз", а благодарная, хотя, может быть, не всегда и не всюду взыскательная публика, объединенная идеологической однородностью, почти все сочувственно и даже восторженно принимала.

Гастон Батти, один из столпов французского передового театра, говорит в своей книге "Спущенный занавес":

*"Великие времена драмы бывают лишь тогда, когда исполнители имеют перед собой аудиторию, способную "вибрировать" в унисон".*

Если признать справедливость этих слов, зарубежный театр первого десятилетия своего существования на чужбине переживал свою

золотую эру. "Вибрирование в унисон" было всеобщим. Но этому, рано или поздно, должен был наступить конец. И он наступил.

Уже в 30-х годах стал ощущаться репертуарный кризис. Один из самых видных руководителей русского театра в Париже жаловался: "достаточно поставить на афишу пьесу классического репертуара, как во всех углах зашепчут: какая скука! как это устарело! кому это нужно?" Изменился и тон газетных рецензий, утеравших свою недавнюю чувствительность к "прошлому". Рецензенты без стеснения писали о когда-то блиставших "боевиках" старого репертуара:

*"Психология героев пьесы слишком далека и непонятна современному зрителю."*

*"Типы, выведенные драматургом, являются совершенно нам чуждыми, видящими драму там, где для нормального человека никакой драмы нет."*

*"Между публикой и происходящим на сцене — стена и пробить эту стену артистам невозможно."*

Исконный "закон" театральной жизни — "созвучность современности" — начал вступать в свои права.

Кинулись искать выход из положения — ставить иностранные пьесы. У эмигрантской публики обращение к иностранному репертуару, естественному в своей стране, большого сочувствия не вызвало. Критика и зрители не без основания говорили: "где же русский театр? где культурная миссия зарубежного театра? зачем нам смотреть на русской сцене пьесу об иностранцах, которую мы можем увидеть, если она заслуживает внимания, на местной профессиональной сцене, в более совершенной и богатой постановке?"

Устремились на поиски в другом направлении, обратясь к советской драматургии. В те времена казалось вполне возможным отыскать "живую струю" и в советских вещах, потому что ясного представления о размахе "партийного" зажима всякого искусства — театрального, в первую очередь — еще не было. В первые годы советского владычества это и не выявлялось так подавляюще и мертвяще, как впоследствии. Публика (вернее, какая-то часть публики, — другая безоговорочно эту затею отвергла) не без увлечения откликнулась на новое "экзотическое" блюдо, но довольно скоро и остыла. Подлинное пропагандное лицо советской драматургии просачивалось сквозь все вымарки и поправки. Стало ясно, что никакого оживления зарубежного театра на этом пути найти нельзя.

Пригодного, свежего, современного русского репертуара попросту не было.

В свободном и органически развивающемся обществе, значение "современности" в жизни театра — грандиозно. Именно, это "дыхание современности", во всех ее захватывающих и волнующих проявлениях, и есть то, что связывает сцену со зрительным залом и делает театр существенным элементом общественной и культурной жизни.

*"Тяга к современным пьесам всегда, во все века, во всех теат-*

*рах, сильна и всегда современная пьеса находила гораздо большее количество слушателей и вызывала неизмеримо больший интерес, чем пьеса классическая. Сущность театра определяется его современностью. Оторвите театр от современности и он перестанет существовать."*

Слова эти принадлежат В.И.Немировичу—Данченко, вместе со Станиславским создавшему Московский Художественный Театр.

Тут приходится сделать грустный (в известном смысле, даже трагический) вывод, что русский театр, жизнь которого, как и всякого театра, начинается с драматургии, вот уже десятилетия (а теперь уже и более полустолетия) находится в состоянии "художественной неподвижности" и давно уже утерял почетное место — лучшего театра в мире. Именно это, надо думать, имел в виду И.Д.Сургучев, закончивший свою рецензию о "Бунчуке" словами: "нашему славному, а теперь большому театру."

Сама эмиграция, имевшая все возможности для свободного творчества, почти ничего для театра не создавала, то есть, ничего отвечающего запросам уже "отстоявшейся" и переродившейся эмигрантской публики. Это и понятно. Если многие — и крупнейшие — эмигрантские беллетристы 10, 20 и больше лет, и до самой смерти, почти не оглядываясь вокруг себя, писали о бывшей жизни, которой больше нет, то драматург, по самому свойству театральной продукции, такого поведения позволить себе не мог. Драматург, готовясь к встрече с публикой, сам, инстинктивно, не мог не предъявлять к себе естественного театрального требования — быть созвучным современности. Но "почвы" для этого не было. К тому же, ни со стороны публики, ни со стороны театров, упивавшихся своим "музейным" репертуаром, долгое время не было и спроса на свежую продукцию, да и зарубежные театры, по самой своей структуре, большого соблазна для авторов не представляли, так как не могли обещать им ни длительного показа их пьес, ни сколько-нибудь ощутимых "авторских".

Я позволю себе высказать мысль, что исключительный успех "Эмигранта Бунчука" на зарубежных сценах объяснялся не только качествами пьесы и блестящими ее постановками в разных странах и городах, а преимущественно тем, что он своевременно указал эмигрантскому театру единственно возможный и доступный для него выход из репертуарного тупика, а именно, обращение эмиграции к самой себе, к своей собственной "современности".

Война приостановила и не дала развиваться этому движению. После войны, когда почти все зарубежные "культурные центры" перекочевали в заокеанские страны, театральная деятельность возобновилась, как бы даже окрылилась, но, по существу, продолжала топтаться на том же месте. Оживление в это "топанье" внесла новая могучая волна, теперь уже бывших "подсоветских" эмигрантов. Они пополнили и актерские ряды и зрительные залы, но чего-то своего, нового, годного для возрождения зарубежного театра, не привезли. Прошло несколько лет и репертуарный кризис сказался полностью, во всем зарубежном масштабе.

Театральная жизнь стала стремительно вырождаться. Опытные актеры и режиссеры среднего возраста стали стариками, старики ушли из жизни, а молодежь уже созрела и, окунувшись в местную жизнь, уже не тянулась так, как прежде, к не имеющему будущего русскому театру. Совершенно прекратилось меценатство, упал дух, понизился художественный уровень спектаклей.

Можно, конечно, по разному расценивать значительность, и даже надобность, в самобытном национально-эмигрантском творчестве и полагать, что те общественно-политические задания, которые эмиграция ставила перед собой в первый период своего существования (продолжение борьбы с большевизмом и хранение тех моральных и духовных ценностей, которые большевики разрушали) и по сей день остаются единственным ее назначением, а предъявлять к ней требования самородно-творческого порядка не нужно.

Упадочное состояние и прогрессирующее вырождение зарубежного театра, тогда еще только заканчивающего (а теперь уже и закончившего) свою жизнь, и было толчком к созданию *передвижного театра* (в январе 1957 года). Теперь, когда пишутся эти строки, даже в таком эмигрантском центре, как Нью Йорк, уже несколько лет нет никакого, даже самого нерегулярного, русского театра и не было *ни одного* (если не считать нескольких гастролей Передвижного Театра) русского драматического спектакля. Сейчас вся русская "театральная активность" выражается тут лишь в редких детских и школьных выступлениях (детей до какого-то возраста еще можно вести за руку!) и, время от времени, в эстрадном появлении, с декламацией и в "отрывках" (из все того же "музейного" репертуара) очень немногих актеров, еще не окончательно распрощавшихся с театром и продолжающих, как упорные солдаты уже побежденной и капитулировавшей армии, безнадежно отстреливаться.

История русского зарубежного театра может считаться законченной.

Что мог бы сказать воображаемый будущий историк эмиграции, пожелай он отвести страницу-другую зарубежному театру, в котором не было ни "исканий", ни развития, ни своего стиля, ни своего самобытного лица, ни какого-либо отражения духа своего времени – и который весь изошел в "музейном" своем производстве, неуклонно катясь под гору? Станет ли он перечислять, как, где, сколько сотен или тысяч раз, какие актеры, любители или школьники по всему свету сыграли "Женитьбу", "Без вины виноватые", или "Дядю Ваню"...о которых все было, в свое время, уже сказано, разобрано и пережито?..

"История Театра" это – история театральной культуры в ее движении и развитии. Ничего такого в истории зарубежного театра не было. Это не значит, что зарубежные деятели театра зря растратили свои жизни, они доставили не мало радостных часов и художественных наслаждений своим зрителям, но они не создали ничего такого, что может хоть сколько-нибудь заинтересовать тех, кто их не видел.

Может быть, Зарубежье и в самом деле не должно стремиться к какому-то творческому национальному самовыявлению, ибо естественный путь всякой эмиграции — это капитуляция или вырождение, то есть, разрыв со своим прошлым и растворение в чужой среде. Что это, в самом деле, такое — Зарубежье? Это несколько миллионов душ, вынужденно и мучительно расставшихся со своей страной и, вот уже более полу столетия, оторванных от своих корней. Ведь по численности своего рассеянного населения, Зарубежье — это целая страна, и далеко не из самых маленьких. Каждая, даже самая крохотная страна, владеющая "почвой" под своими ногами, сообща строит свою жизнь и с надеждой глядит в свое будущее. У такой страны всегда есть, наряду с *интернациональными* достижениями — в научной, технической и социальной области, и свое, только этой стране присущее, самородное, национальное творчество — в быту, в фольклоре и, главным образом, в искусстве. И только это творчество выделяет эту страну из других, отражая ее своеобразный характер и ее дух.

Может ли произрастать что-либо такое в бесформенной, нелепой, фантастической, беспризорной "стране", которую мы зовем "Зарубежьем"? Ведь у этой страны нет ни территории, ни границ, ни правительства, ни общественного мнения, ни "круговой поруки" и она не может претендовать ни на "патриотизм", ни на "любовь к отечеству", потому что чувства эти приложить не к чему. У этой "страны" нет и никакого "будущего", потому что самым светлым и желанным "будущим" Зарубежья нам представляется его исчезновение, когда какие-то "массы" хлынут обратно в свое воскресшее отечество, а другие, тогда уже сознательно, добровольно и открыто от него отрекутся. И тогда само понятие — Зарубежье — превратится в анахронизм и отойдет в историю.

Зачем такой нелепой "стране" нужно свое самобытное творчество?

Эмиграция и не прилагала никаких трудов к выявлению своего "национально-зарубежного" лица. Не создалось никакого самородно-зарубежного стиля — ни в песнях, ни в одежде, ни в обычаях, ни (скажем полшутя) в "кулинарии". Ведь за полстолетие не появилось ни одного выразительно-эмигрантского блюда, чего-нибудь, вроде "баранины по эмигрантски" или "пирожков Зарубежья"; мы с первого дня изгнания и по сей день, не без патриотического самосознания, едим во всех углах нашего рассеяния освященные традициями — борщ, блины или пельмени (что опять таки входит в сферу "хранения заветов") — и ничего своего не создаем. Так, может быть, и театру надлежит стоять на тех же неподвижных позициях былого национального величия, как если бы театр представлял собой то же, что и церковь, в которой содержание и формы обрядов установлены века назад на века вперед, в их нерушимой и святой неприкосновенности, а не был нервным пульсом текущей и меняющейся жизни, призванным идти в ногу с развитием общества и не терпящим неподвижности. Пусть другие страны порождают движения, направленные против застоя в искусстве, — нас это не должно касаться. А если не это, то не нужно ничего!

Однажды, когда деятельность Передвижного Театра уже несколько лет успешно развивалась, я получил письмо от неизвестного мне корреспондента, высказывавшего свои соображения по этому поводу. Автор письма очень сочувственно и даже хвалебно отозвался и о Передвижном Театре и о моем авторстве, но счел нужным преподать мне дружеский совет. Он писал:

*"...Почему вы область ваших писаний ограничиваете эмиграцией? Какой интерес может представлять эмиграция теперь, после стольких лет оторванности от своей страны? Эмиграция это — "жалкий мирок" беспочвенных людей, изувечившихся в победе, живущих вразброд, в расприх и в только кажущейся непримиримости к основному врагу, а чаще в лютой ненависти друг к другу. Кому может быть интересна эта перепревшая убежденность в своей правоте и, только в собственных глазах, невыветрившееся ощущение своей значительности? В глазах всего мира, и политическое и общественное значение эмиграции давно равно нулю и, если говорить правду, здоровые элементы стараются всеми силами порвать с этой дохлой средой и включиться в жизнь стран, куда их закинула судьба. Почему вы, при всем вашем таланте, так упорно держитесь за этот гнилой сук и не хотите выйти на свежий воздух?.."*

Вопрос был поставлен круто и напрашивался на ответ, тем более, что я своих позиций сдавать не предполагал. Я решил ответить автору через газету — "открытым письмом в редакцию", полагая, что вопрос этот может заинтересовать и широкое общество, а не только театральные круги. Среди прочего, я писал:

*"...Писать можно лишь о том, что знаешь (или, может быть, еще о том, чего не знает никто). Я, как автор, самими условиями моей жизни связан со своей темой и оторваться от нее не могу. На какой "свежий воздух" предлагаете вы мне выйти? Писать о жизни в Советском Союзе, в котором я не жил? Или стать пасынком иностранной литературы и описывать чужеземную жизнь, с которой я соприкасаюсь лишь поверхностно, в ней не растворяясь, и которую, конечно, не могу знать и понимать лучше коренных ее жителей, отдавших литературе? Не могу, по-настоящему, и увлечься ею. Однако, такой мой ответ звучит самооправданием, а я намерен не оправдываться, а перейти в атаку. Я не стану опровергать ваших утверждений, что в зарубежной среде растет и крепнет неуважение эмиграции к себе самой; я не стану и против вашей оценки значения эмиграции. Я вообще не стану защищать "эмиграцию", потому что эмиграция, как общественное и политическое явление, не есть и никогда не была моей темой. Я пишу не об "эмиграции", а о людях в изгнании, а это совсем не одно и то же. Трудно, мне кажется, представить себе, а тем более в нашу взвихренную эпоху, более интересное человеческое существо, чем "эмигрант" — человек, выбитый из колеи, вольно или невольно прошедший через опыт и "летучего голландца", и "странствующего рыцаря", и "вечного жида", и "бездомного бродяги", и чего хотите, — подверженного таким болез-*

ням духа и быта, какие оседлым обитателям своих стран и не приснятся. Или вы считаете, что эмигрантский "жалкий мирок", который вы так презираете, обесценивает и жизнь всех людей, его составляющих?.."

В моем частном письме к корреспонденту, я мой ответ "через редакцию", дополнил еще и следующими строчками, в печать не попавшими:

"Я удивлен, что вы, при всей категоричности ваших высказываний, посещаете спектакли моего театра и даже, как могу заключить из вашего письма, читаете мои эмигрантские пьесы! Если вы уже порвали с "жалким мирком" Зарубежья, зачем вы это делаете? Я позволю себе усумниться в полноте вашей искренности к самому себе: — может быть, вы не столько хотите меня направить на "путь истины", сколько хотите убедить самого себя в доброкачественности своих суждений, крепких в голове, но еще не совсем дошедших до сердца? Если вы и ваши единомышленники будете продолжать посещать мои спектакли, я могу считать будущее моего театра вполне обеспеченным."

Ответа на это письмо я не получил и никакой дальнейшей переписки с этим корреспондентом у меня не состоялось.

Мы все, конечно, знаем, что по прошествии десятилетий какой-то процент эмигрантов сдает свои позиции, или растворяется в чужой среде, но ведь есть и такие — и их, надо думать, еще очень много, — кто ни к какому чужому берегу внутренне не пристал, не изжил в себе национального беспокойства, и у которых чувство своего "изгнанничества" превратилось в хроническую болезнь их жизни. Они продолжают нести в себе "идею России", пусть эта "идея" и не стоит у них больше на "повестке дня", а живет только в воображении. С во я, настоящая, родина, бывшая для них сперва только "покинутой", позже — "потерянной", стала, наконец, просто "чужой". Но зато своя собственная зарубежная жизнь, почти вся или целиком прожитая на чужбине, приобрела для них полную ценность, потому что никто, кроме самоубийц, жизни своей не перечеркивает.

Для этих людей и был создан

## ПЕРЕДВИЖНОЙ РУССКИЙ ТЕАТР

Передвижной Театр был первой и единственной попыткой за все время существования эмиграции — создать *самобытно — эмигрантский* подлинно *современный* русский драматический театр, переведа его на новые пути, отвечавшие запросам уже "отстоявшегося" и переродившегося общества, изжившего свое острое ощущение пребывания на "пересадочной станции", осознавшего "биологическую", а не только "прикладную" ценность своей жизни, заслуживающей внимания и интереса — и тем самым продляющей (хотя бы в своем углу) существование русского театра вне родины.

За полным и катастрофическим отсутствием какого-либо другого матерьяла для осуществления этого замысла, только собственная, сво-

бодная, эмигрантская драматургия могла быть положена в основу репертуара нового театра, а от "музейного" репертуара (в то время еще как-то используемого различными группировками) решено было начисто отказаться, как в целях более определенного выявления своего собственного лица, так и из-за нежелания идти по проторенным и куда не ведущим путям доживающего свои дни зарубежного театра.

Передвижной Театр существует уже 18 лет, развив за это время весьма интенсивную деятельность и доказав свою жизнеспособность. Многие тысячи зарубежных зрителей в больших и маленьких городах Соединенных Штатов повидали постановки этого театра, побывавшего даже в Канаде, и многие пьесы из его репертуара были поставлены (и продолжают ставиться) и в Европе, и в странах Южной Америки, и в Австралии, и всюду, где русская театральная жизнь еще как-то теплится. В театральную жизнь Зарубежья, а тем самым и в историю русского театра, Передвижной Театр бесспорно вписал, пусть очень скромную, но свою, новую, самостоятельную и неподражаемую (и, вероятно, последнюю) страницу, на фоне того бесплодного, сплошь имитаторского и копировочного обличия, с которого зарубежный театр начал и на котором закончил свои дни.

\* \* \*

*Всеволод Хомицкий — известный режиссер, актер и драматург — в конце этого года выпускает 3-ю книгу пьес из эмигрантской жизни ("15 одноактных пьес", 1964 и "Вторая книга пьес", 1972, Нью Йорк).*

*Богатый опыт в Европе, а потом в Америке, где он основал уникальный Русский Передвижной Театр; знание всех тонкостей сцены и зоркий взгляд драматурга, позволившие ему изучить русских жителей "страны Зарубежье" — помогли ему подытожить в этой статье свою многолетнюю театральную деятельность.*

*В Европе он прославился пьесой "Эмигрант Бунчук", поставленной незадолго до войны знаменитым режиссером Н. Н. Евреиновым, который в книге "Памятник мимолетному" (Париж, 1953) об этой пьесе написал следующие строки:*

Если эмигрантские театры и впрямь создали нечто достойное внимания— такие ценности, какие не должны быть забыты, то в перечне только главных вкладов (выделено всюду Н.Н. Евреиновым), какие были сделаны в общую сокровищницу русского театра, я прежде всего назову "Эмигранта Бунчука" Вс. Хомицкого, которому удалось "выщедить" из эмигрантской гуши неизвестный дотоле тип; мы познакомились с ним, благодаря его автору, в столь хорошо "препарированном" виде, что самое имя "Бунчук" стало нарицательным.

*События последних лет, обогатившие эмиграцию новыми ростками русской культуры (включая театр), дают нам право надеяться, что несколько пессимистическое заключение автора о "последней странице" Зарубежного театра — не окажется пророческим.*

## Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Элла Боброва. Григорий Свирский. Заложники.

Les Editeurs Reunis, Paris. 1974.

*Почему же о н и уезжают из Сов.Союза, и м —то жилось там неплохо...революция ведь была делом и х рук?.."*

*Этот вопрос можно иногда услышать здесь от людей, пожелавших раз и навсегда поверить в эту версию. Для них важны не человеческие судьбы — а определенные категории людей, разложенные по полкам по признакам: религиозному, национальному и социальному. Переубедить их трудно.*

*Но читателям, искренне желающим узнать, что же случилось в последние годы с национальным вопросом в стране, где впервые шовинизм и антисемитизм были объявлены "наследием проклятого прошлого" — хочется порекомендовать книгу Г.Свирского "Заложники".*

*Автор ее — человек умный и талантливый, с горячим темпераментом и чувством юмора — написал книгу не иде—то в безопасном Ташкенте в эвакуации: он выстрадал ее вначале на фронтах Второй мировой войны как авиатор и военный корреспондент (был неоднократно награжден за храбрость); потом — на сложных фронтах в послевоенной России в качестве студента, а позднее — журналиста и писателя.*

*В эти годы Г.Свирский — курчавый брюнет с горбинкой на носу — на себе испытал как "разрешена" национальная проблема в Сов.Союзе. На стр.285 он описал, как в Осетии его однажды исключили из числа приглашенных на свадьбу, приняв его за грузина; как в Тбилиси — избili на улице, приняв за армянина; как туристы из Прибалтики умолкали при его появлении, считая его русским; и, наконец, как в Москве его не утвердили в должности члена редколлегии...как еврея.*

*"Заложники" — не роман, хотя читается с неослабевающим интересом. Имена "героев" не вымышлены, и горести их, увы, тоже настоящие: родители Полины действительно погибли от рук немецкий расистов; она, став доктором химических наук, на самом деле долго металась в поисках работы, несмотря на острый недостаток химиков. Читая книгу с негодованием и болью, читатель испытывает облегчение и радость, узнав, что судьба, как бы одумавшись, посылает героине счастье в личной жизни: мужа и желанного (с риском для жизни) сына, которому можно было дать имя погибшего брата.*

*Вся эта первая часть книги, посвященная судьбе Полины (теперь жены автора) написана особенно лирично и глубоко трогает.*

*Что касается шовинизма, то он встает в книге во весь рост — без домыслов и вымыслов — из фактов с указанием имен, городов и дат. Читатель встречает в книге приспособленцев, трусов и перестраховщиков — но одновременно и людей мужественных, не боящихся, даже рис-*

кую положением, помочь достойному человеку в беде, несмотря на то, что он велеием свыше попал в нелепую категорию "иностранцев" или "некоренного населения".

Говоря об этих категориях, автор (на стр.270) с горечью приводит примеры: указами Президиума Верховного Совета 1964 и 1967 гг. немцы Поволжья и крымские татары были "реабилитированы", но не возвращены домой, т.к. они "укоренились" на новых местах — всего за 23 года! А первые еврейские поселения в России относятся к первому веку нашей эры (в Киеве при Владимире Мономахе даже была еврейская улица).

Тема шовинизма разработана Г.Свирским с таким знанием и жаром, что не оставляет места для критики других теневых сторон советской действительности. Но писатель теперь на Западе и мы имеем основания ожидать от него произведений на темы выходящие за пределы уже затронутого им советского расизма.

В книге есть приложение, из которого видно, что этот расизм в государственном масштабе был осужден парижским трибуналом в марте-апреле 1973 г. Выступавший в качестве свидетеля Г.Свирский передал трибуналу фотокопии оглавлений бюллетеня советского посольства во Францию "СССР" от 12 сентября 1972 г. с указанием статьи "Израиль-школа мракобесия" и заглавной страницы книги Россова "Еврейский вопрос", вышедшей в С.Петербурге в 1906 г. Тексты фотокопий почти идентичны. Конечно, нельзя ставить знак равенства между аспектами "еврейского вопроса", как он существовал в России начала века, и тем, что происходит с "еврейской проблемой" в СССР. Частное мнение антисемита Россова — это все же не г о с у д а р с т в е н н ы й антисемитизм, взятый на вооружение в Советском Союзе. Вина советских антисемитов-"профессионалов" гораздо весомей. Естественно, что Международная Лига по борьбе с расизмом и антисемитизмом подала в суд на советское посольство за разжигание расовой ненависти, и трибунал вынес решение о виновности редакции журнала "СССР". Процесс облетел все газеты мира, и в книге "Заложники" читатель найдет любопытные цитаты из французских газет разных направлений.

Как автор книги отвечает на вопрос "почему о н и уезжают?" Сам он, считавший себя коренным россиянином, прадед которого — солдат русской армии, был ранен во время первой обороны Севастополя, — очутился в положении писателя без читателей: в течение шести лет его статьи и книги не печатали; после речи на собрании писателей о росте сталинизма, а также в защиту Солженицына и других авторов, его исключили из Союза писателей (эта речь опубликована в 6-м томе произведений А.Солженицына).

Так созрело решение: уехать...

Александр Гидони. Дмитрий Кленовский. "Теплый вечер". Мюнхен, 1975.

Сборник Дм. Кленовского, бесспорно, отличный подарок любому русскому читателю: и тому, кто хорошо знает имя этого интересного поэта, и тому, кто впервые знакомится с его творчеством. Само название "Теплый вечер" прекрасно передает ощущение от встречи с красиво-песенной, задумчивой Музой поэта. Читая лучшие стихи сборника (как, впрочем, и стихотворения других книг Д.Кленовского), в самом деле чувствуешь приобщенность к чему-то ласковому и теплому, воплотившемуся в музыке слова и вобравшему в себя теплоту вечерних песен, какие поются только для любимых; или же — если поются сами собой — то от избытка любви, переполнившей душу, открытую для всех. Ведь недаром, говоря словами поэта из его стихотворения 1974 года, Творец "как подарок, как заботу, В нас вдохнул живое чудо: Человеческие песни, Озаряющее слово". Это "чудо", даже нерастраченное — дорого; будучи даримым, оно приобретает наивысшую цену, не теряя ни на йоту своего волшебства на долгом пути от сердца поэта к сердцу читателя.

Стихи Д.Кленовского живы двойным измерением поэтического чутья: с одной стороны, — это очень з е м н ы е стихи, и поэт любит конкретную живопись конкретной детали; однако есть и другая (в данном сборнике даже более весомая) ипостась его мироощущения: это способность прозревать в сиюминутном — Вечное, в тленности — возможность Бессмертия. Такой "метафизический" план стихов Д.Кленовского очень важен, поднимая многие его лирические зарисовки до уровня зрелой философской лирики. В то же время его стихи не страдают несколько банальным дуализмом хрестоматийного образца, когда иной поэт назойливо "обыгрывает" антинomioму Духа и Тела, Жизни и Смерти, полагая, что подобного рода трюизмы во всяком случае беспроигрышны с точки зрения их поэтической апробированности.

Д.Кленовский (и это его большая заслуга) слишком оригинален, чтобы играть на таком дуализме восприятия; он, к тому же, религиозен в том высоком смысле этого слова, когда нечего бояться упрека в бездуховности, если ты — поэт — радуешься почти по-язычески блеску земного солнца, свежести вешних вод, прелести женского тела. Христианское чувство душевной благодати не только не страдает при этом, а, напротив, выигрывает. Под знаком такого единения "телесного и духовного" очень красиво воплощается Д.Кленовским вечная тема любви. В очаровательном стихотворении "Твоя душа твоем владеет телом" поэт добивается прекрасного эффекта и в позороте мысли, и в ее строфическом виде, когда, остановившись на самой грани "секса", он, тем не менее, дает целомудренно-пластичную картину того, как "наше тело, ветренный сообщник, Своей души все тайны выдает!"

Представленные в сборнике стихи можно было бы разбить на три основные тематические группы: прежде всего это "метафизические"

стихотворения (о Боге, Вере, Земном Бытии); далее, это лирика, подобная только что упомянутому стихотворению; и, наконец, в книге присутствуют программно-публицистические вещи, где говорится о гражданственном предназначении поэзии, ее восприятии собратьями по перу и обществом в целом. Со многими мыслями, высказанными в таких стихах, как "Поэт Зарубежья", "Кто в детстве не был в царстве сказок", "Еще не все иссякли ассонансы..." — нельзя не согласиться что называется, до конца. Радует пламенность поэта в защите им традиционной традиции русского р и ф м о в а н н о г о стиха — традиции, которая противопоставляет рабленному "новаторству" и которая хранит "бессмертье девственной строки", как пишет Д.Кленовский. Радует и то, что какой бы темы ни касалось перо поэта, в любом случае мы имеем дело с пером большого и опытного мастера.

Тем более досадны порой мелкие срывы. На стр.42 книги можно указать на очень неловкую заключительную строфу, где примитивно рифмуются слова: "настолько" и "только", а последняя строка: "Одна разбить ты можешь только", косяязычна по звучанию своему. Странное впечатление производят и стихи на стр.9 сборника, как будто взятые напрокат — по ритмике и образной структуре — у раннего Н.Тихонова. (Сравните: "Мы потеряли музыку косы, Вдох паровоза, благовест копыта, Застенчивость девической косы, Уют свечи, податливость корыта". — Д.Кленовский. И — "Мы разучились нищим подавать, Дышать над морем высотой соленой, Встречать зарю, и в лавках покупать За медный мусор золото лимонов". — Н.Тихонов).

Конечно, нам и в голову не приходит видеть здесь рабское эпитонство. Д.Кленовский — слишком самобытный и зрелый поэт, чтобы подражать бы в ш е м у поэту Николаю Тихонову, однако поэтические слух и память должны были подсказать ему неуместность н е в о л ь - н о г о совпадения с мотивом другого и чуждого по духу автора.

Эти замечания, разумеется, — лишь мелкие оговорки чисто профессионального характера, не более. Они не могут снизить чувства признательности от встречи со стихами видного поэта Зарубежья, труженика поэтической нивы, патриота русского духа, каким заслуженно видится благодарным читателям поэт Дмитрий Кленовский.

Элла Боброва. Лидия Чуковская. Спуск под воду. Изд.—во имени Чехова, 1972.

Лидия Чуковская знакома зарубежным читателям по повести "Опустелый дом", опубликованной в "Новом Журнале" в июне 1966 года под названием "Софья Петровна". А читатели Н.Р.С., несомненно, помнят ее по уничтожающему открытому письму на имя Михаила Шолохова, "одобрявшего" жестокий приговор Синявскому и Даниэлю.

По бесстрашию, искренности и любви к русскому языку Лидия Чуковская остается верной себе в этой книге; но в ней особенно явственно слышится дочь Корнея Чуковского, автора труда "Живой, как жизнь". Читатель то и дело с восхищением останавливается перед поэтически-картинами, особенно в ее описаниях природы. Вот, например: "Березы росли семьями...устремляясь вверх, и чем выше, тем дальше отклонялись друг от друга, как в неподвижном, но стремительном вальсе." А иде—то дальше в обрабeони "...из глубины снега тянутся к облакам...словно вылепленные из белой тишины."

Голос писательницы и в этой повести звучит безбоязненно, молодо и горячо (несмотря на возраст — она родилась в 1907 г.) Даже грамче и смелее: если ее Софья Петровна — робкое существо, наивно цепляющееся за веру в справедливость карающих органов, несмотря на арест единственного сына, то героиня новой повести Нина Сергеевна — член Союза Советских Писателей, переводчица, которую опыт, годы и горе научили слышать истинный смысл как в зауценном пафосе неутомонного радио—диктора, как и в воплях газет, полных то восхвалений, то клеветы, то "разоблачений".

1949-й год. Уже двенадцать лет одна с дочкой. Коммунальная квартира. Перебранки на кухне: кто—то пилит "словно за ноги тебя тащат по лестнице вверх и ты лбом ударяешься о каждую ступеньку". И оттого Нина Сергеевна так жаждет погружения в глубину, спуска под воду, хотя знает, что там еще страшнее, чем на поверхности: "...там тяжелые шаги солдат, уводящих Алешу...там неотступный, многолетний вопрос: каков был его последний миг?"

Нина Сергеевна мечтает о спуске на дно, где "от скрещения тишины и памяти возникнет звук...который...станет книгой, замираем сердца, чьей—то новой душой." Хотя убеждена: "...м о е й памяти никто не позволит превратиться в книгу."

И вдруг...Санаторий, березовые роуци, снежные сугробы, ежедневные прогулки в лес, а главное — она одна в комнате, где "мысль или догадка не будет пережрана...чьими—то словами на кухне...где есть письменный стол, который не надо три раза в день превращать в обеденный."

Здесь в течении двадцати шести суток, в часы желанных погружений, память, просыпаясь, диктует ей страницу за страницей...В них давно затаенные горячие слова гнева, осуждения, сострадания и любви —

лишь где-то между строк мы находим смутную надежду быть услышанной.

Полным горечи голосом автор рассказывает нам о послевоенной России; о людях с клеймом "был в оккупации"; о бывшем ЗК, вынужденном фальшивить, чтобы не стать "повторником"; об истерии "разоблачения космополитов"...

Мы читаем и просыпаемся, взбудораженная книгой, наша память о непостижимых событиях, о невозместимых потерях... И хочется сказать мужественной женщине о том, что ее погружения были не напрасны: что ее память стала книгой, пусть лишь за пределами родины, усилиями братьев, которых она искала ("все живое ищет братства...").

Хочется заверить ее, что их же усилиями голос ее будет передан иноязычным ветрам, которые понесут этот голос в другие страны как весть о силе правдивого слова и несломленного духа.

Е. Таубер. Нонна Белавина "Утверждение", Нью Йорк, 1974

Хотя, по словам Пушкина, "От ямщика до первого поэта. мы все поем уныло," всё же исключения встречаются, и одним из них является сборник стихов Нонны Белавиной *Утверждение*. Стихи ее оправдывают название сборника.

В первом своем стихотворении она пишет:

Моих языческих стихов  
Ты не поймешь. Ты их осудишь!

и дальше:

А я земная. Я живу  
Земли обильными дарами!

и кончает:

Я благодарно всё приемлю!

Жизнь для нее ликование: "Ликую, ликую, ликую. И буду так до конца". Читая стихотворение *Дикую сердцу*, мне невольно припомнились стихи французской поэтессы графини де Ноай, ее *Лику*, где она не устает язычески радоваться всему земному, словно в мире нет ни скорби, ни отчаяния, ни смерти. Не думаю, что Нонна Белавина читала графиню де Ноай, — сходство их случайно, но определенно. И, конечно, читатели, уставшие от горьких жалоб, иронии над своей судьбой и безнадежности, обрадуются "Ут-

верждению". В какой-то степени стихи Н. Белавиной именно то, что требуют в Советском Союзе, т.е. бодрости. Оптимизма ей занимать не надо. Она пишет:

Подольше б эту молодость сбережь,  
Земным веселым насладиться раем!  
Поверьте, стоит самых лучших свеч  
Игра, что жизнью называем!

*Потустороннее ее не манит, она готова отдать его*

За земные наши пустяки...

*Но стихи "Памяти Александра Биска" всё же этому противоречат:*

Как печально идти  
По жизни, где ты — одна.  
.....

*и "где больше не будет встреч". Но эту разлуку она приемлет, как приемлет свою "гордую седину".*

*Нонна Белавина любит эпитеты "золотой, языческий, веселый". Муза для нее "сказочная птица", жизнь — праздник. И она бережет земную любовь, как "лучший цветок в саду".*

*Удачно стихотворение Р и м, где*

Каждым обломком Вечность  
В воды Тибра светло глядится.

*Кроме стихотворений о радости земной любви, которую она не хочет променять "на радость мотылькову", есть у нее стихи о сыне, со всей материнской тревогой и нежностью; и самое удачное в сборнике — О м о с т а х, со строками:*

Увидишь: и стихи мостами служат,  
И от души к душе ведут они.

*Хотелось бы все же более сжатых и точных стихов, где не всё рассказано, где надо долго вчитываться и догадываться, где "словам тесно", — но у каждого поэта своя манера.*

*У Нонны Белавиной хороша ее любовь к миру, к зверям, ее пантеизм и языческий праздник жизни.*

Галина Гидони-Румянцева. Алла Кторовая. Экспонат Молчащий и другое. Мюнхен, 1974.

Имя автора книги пользуется заслуженной известностью. Алла Кторовая — писатель со своей тематикой и собственной, довольно интересной манерой. Нельзя сказать, чтобы в манере этой не угадывалось никаких воздействий (в чистом виде такого, собственно, и быть не может). Поэтому имена М.Булгакова, Ю.Олеши, Тэффи и других в этом же ряду легко всплывают в сознании, когда читаешь кторовскую прозу. Все это так, однако тем большей заслугой автора "Экспоната Молчащего" является умение найти и в сравнении с такими именами свой литературный почерк, в основе которого лежит, по удачному выражению Леонида Владимировича — одного из двух критиков, предпославших свои суждения книге "Экспонат Молчащий", — "чисто кторовский, русский сумбур".

Алла Кторовая — бытоописатель, и это главное в ее творчестве. Она, к тому же бытоописатель, проникнутый субъективностью настолько, что, кажется порой, эпически спокойное повествование о чем-либо ей просто противопоказано. И вот тут — то она приятно "обманывает" читателя. Ибо ей свойственны и уверенность мазка, и зоркость к не бросающей даже, но характерной детали, и умение создать характеристику — портрет, независимо от авторской воли живущего персонажа, т.е. качества, вполне пригодные как раз для "эпического" рассказа. Можно даже пожелать Алле Кторовой усиленного развития именно этой ее способности, поскольку определенная "сумбурность" ее стиля имеет не только достоинства, но и свои издержки. Излишнее присутствие личности автора в ситуациях повествования, требующих более строгой сюжетности, мешает четкости восприятия и приводит либо к смысловым курьезам (вроде рассуждения о Сократе в повести "Юри переулоч" — стр.68 книги: нельзя отделаться от впечатления, что автор повести хочет всерьез доказать, будто "видела" Сократа и "знает в точности" обстоятельства его смерти), либо порождает "намекы тонкие на то, чего не ведают никто". И тогда, в последнем случае, бедному читателю, дабы разобраться в изгибах авторских намеков, потребуются те самые "дешифровщики", о которых Алла Кторовая вспоминает, рисуя с отличным сарказмом быт "советских ин-тю-ллек-тю-алов" (см. "Экспонат Молчащий", стр. 415).

Вообще, изобилие всяческих "отстранений" автора от прямого пути, от "сердцевины", так сказать, рассказа зачастую оборачивается парадом "литературности" и вторичности замысла. Ведь даже само название книги — "Экспонат Молчащий и другое" звучит очень уж "по-горьковски" (вспоминается: "Егор Булычев и другие", "Сомов и другие" и другие). А на страницах "Экспоната" многое отдает другой "горьковщиной" — уже из "Клима Самгина" — желанием прямо-таки "нада-

вить" на читателя "эрудицией".

Все сказанное отнюдь не умаляет достоинств произведений Аллы Кторовой. Не означает это и какой-либо "борьбы" с фрагментарной манерой изложения, излюбленной ею. Именно в такой манере отлично написаны рассказы "Нежный гад" и — особенно сильно — "Таисья". Речь идет о соблюдении чувства меры, а это — важно!

Здесь же уместно сказать и еще об одной стороне дела. Андрей Седых в статье "Реализм или вульгарность?" ("НРС", 18 марта 1975) справедливо писал относительно опасности "огрубления" русского языка из-за чрезмерной "любви" некоторых писателей к словам и выражениям, "которые раньше мы читали только на заборах и отхожих местах". Увы, такого сорта "чрезмерность" есть в книге Аллы Кторовой. Да поймут нас правильно: не ханжеский "пурианизм" побуждает ратовать за "освобождение" литературного языка от внелитературных примесей. Очевидно, что с т е р л и з а ц и я стиля ни к чему хорошему в писательском мастерстве не привела бы. Но опять же — чувство меры!.. Неужели хороший рассказ "Нежный гад" делается лучше от употребления на стр. 446 "соленого" определения в адрес героини рассказа Вальки, "вписавшейся в социалистический интерьер"? Или чего стоит "изячное" (стр.447) сравнение жизни с "экскрементом, по лопате растекающимся"? Список аналогичных "перлов" можно было бы продолжить...

Повторим еще раз: замечания и полемические мысли в отношении книги Аллы Кторовой никоим образом не меняют главного: неоспоримого значения ее творчества в общем русле зарубежной русской литературы. Кторова как писатель имеет и "свое лицо", и те художественные потенции, которые явно могут быть приумножены. Путь к этому нелегок даже для самого большого писателя, и книга, ставшая объектом настоящей рецензии, как на примере достоинств своих, так и недостатков, наглядно свидетельствует о развитии писательского таланта Аллы Кторовой.

Элла Боброва. Виктор Морт "Мера подлости", Нью Йорк, 1973, Все-славянское издательство.

Об этой книге Виктора Морта, одного из авторов "Современника"\* и многолетнего друга журнала, непременно хотел написать сам Валерий Лукьянович Савин, но болезнь в свое время помешала ему это сделать — отсюда запоздалый отзыв.

Успех прозы Виктора Морта, мне, кажется, объясняется прежде всего тематикой его произведений: он описывает русскую эмигрантскую действительность, ее он знает, к ней прислушивается, она ему близка со всеми ее трагичными, смешными и порой нелепыми чертами.

Своих героев он описывает и скупо, и щедро: мы иногда мало зна-

ем об их внешности, но они у него всегда живые, и из их мыслей, чувств и поступков вырастает образ человека, кажется, давно нам знакомого и надолго запоминающегося. Иногда он этого достигает одной чертой. Вот бабушка в семье Шевцовых ("Мера подлости") отстаивает необходимость посещения русской школы внуком Алешей:

"... но родители говорили, что это ему не нужно и ни к чему. Тогда гулкий бас Анны Павловны наполнил всю квартиру и больше к этому вопросу не возвращались".

Это лаконичное описание семейной сцены заменяет целую страницу диалогов с "он сказал", "она ответила" и т. д. Гулкий бас этой бескомпромиссной бабушки "слышится" на протяжении всей повести.

Виктор Морт не делит своих героев строго на злых и добрых. Как К. С. Станиславский требовал от своих актеров, чтобы они, играя злодея, показывали, где он добрый, — в "Мере подлости" матушка, ушедшая от жертвенного отца Федора к более обеспеченному Кирсанову, в конце рассказа в ужасе отшатывается от второго мужа, убедившись в его низости.

Писатель не передвигает своих героев, подобно шахматным фигурам, в угоду сюжету: он искренно страдает и веселится с ними, возбуждая ответные чувства в читателе. Владея техникой традиционной прозы, Виктор Морт умеет найти интересный сюжет из окружающей его жизни, развить его и заронить желание дочитать до развязки, не надевая читателю рассуждениями, не относящимися к действию героев. Он также имеет способность использовать деталь по известному принципу: если в первом акте фигурирует ружье, то оно должно выстрелить в одном из последующих.

Но главное достоинство Виктора Морта-рассказчика — в умении найти и показать в сюжетном рассказе психологический конфликт, без которого не может быть захватывающе интересного повествования.

Иногда авторы оправдываются тем, что описывают всё так, как было на самом деле. Но читателю нет дела до того, что рассказ "сухая правда", если в нем нет конфликта ни героя с обществом, ни — одного героя с другим, ни героя с самим собой.

Что касается языка, то с отдельными шероховатостями и вульгаризмами — результатом советской школы 20-30 годов — Виктор Морт успешно справляется: это видно из простого сопоставления отчетной книги с его первым сборником рассказов "Хэппи энд". Очевидно, автор уже на пути к более строгому отношению к написанному, особенно к к авторской речи.

Известно, что Толстой даже от издателя иногда забирал рукопись и снова ее перedelывал. Виктор Морт писатель очень плодовитый, но мы не беремся судить, как часто он перedelывает, шлифует и сокращает написанное, так как не бывали в его "кухне".

С приездом новой эмиграции, среди которой есть немало филологов и литераторов, надо надеяться, что в издательствах появятся квалифицированные редакторы — корректоры: к их мнению каждый серьезный

писатель охотно прислушается. Я уверена, что к числу таковых относится Виктор Морт: он не скажет, по примеру некоторых поэтов, "так написано", отказываясь исправить несовершенства написанного как "плод вдохновения".

Не пересказываю содержания книги "Мера подлости", т. к. цель рецензии — лишь обратить внимание читателей "Современника" на эту книгу уже многим известного писателя. Знаю, что третья эмиграция для Виктора Морта будет источником новых сюжетов, и что он подарит нам еще не одну книгу интересных рассказов.

С. Л. В. Записки Русской Академической Группы в С. Ш. А., том У111, Нью Йорк, 1974 г.

По многим причинам русская эмиграция испытывает заметное понижение уровня ее культурной и литературной жизни. Сокращается число ее печатных изданий. Искажается язык, в который с волной новейших эмигрантов из России проникают не только неологизмы, порожденные советской, но и слова, которым — по выражению одного из зарубежных русских публицистов — раньше было место только на заборах. В этой безотрадной картине, однако, существуют светлые исключения. Одно из них — "Записки Русской Академической Группы в США", редактируемые К. Г. Белоусовым.

Начало восьмого тома этих "Записок" посвящено девяностолетию А.Л. Толстой и ее воспоминаниям об "обычном дне" ее отца. За ними следуют речи и доклады, прочитанные на состоявшемся в Нью Йорке 4 мая 1974 г. по почину Академической группы симпозиуме об А. И. Солженицыне: вступительное слово председателя группы проф. Н. С. Арсенева; речь протопрезвитера А. Шмежана об "Архипелаге Гулаг"; доклад проф. Джона Б. Дэнлопа о той же книге А. Солженицына; речи проф. А.П. Оболенского, Р. Б. Гуля, проф. Л.Д. Ржевского на ту же тему; речи проф. К. Филипс-Юсвиц о другом произведении писателя — "В круге первом".

Прот. А.Шмежан отметил в частности, что первоначальное общее преклонение перед Солженицыным сменилось в некоторых случаях критикой и объяснил это тем, что автор "Архипелага" — не политик, а пролетарий любой идеологии — не только коммунистической.

Проф. Дж.Б. Дэнлоп указал на то, что "советский террор был следствием подчинения победивших революционеров жестокой идеологии" и что "он не был вызван aberrацией Иосифа Сталина, но с самого начала был свойствен большевизму".

Заслугой Солженицына проф. Дэнлоп назвал его верное указание на то, что "отцом террора" в захваченной коммунистами России был не Сталин, а Ленин.

Л.Д. Ржевский обратил внимание участников симпозиума на художественную сторону произведений Солженицына, а Р.Б. Гуль — на поли-

тическое значение "Архипелага" для будущего освобождения России от кровавой диктатуры марксизма.

Эта первая часть "Записок"—ценный вклад в то освещение и изучение творчества Солженицына, которое, как нам кажется, еще не пришло и не может прийти к окончательным беспристрастным выводам вследствие политического, злободневного значения всего, что Солженицыным до сих пор написано.

Следующая часть книги состоит из очерка проф. А.Е.Александера о "Киевском гуманизме" и статьи проф. Р.Хауга о "Св. Владимире и Олафе Триггвасоне". Оба автора внесли этим значительный вклад в изучение раннего, киевского периода русской истории и, хотя проф. Хауг сосредоточил свое внимание на скандинавских связях Киева и лишь мельком упомянул славянские, о которых свидетельствует, например, полное совпадение названий некоторых поселений Новгородской Руси с поселениями бывшей прусской Померании, ныне—польского Поморья, его предположения о том, что канонизированный русской Церковью князь Владимир стал христианином под влиянием скандинавского варяга Триггвасона заслуживает, конечно, внимания.

Тот же том "Записок" содержит продолжение очерков покойного проф. Г.В.Вернадского по истории науки в России и составленную проф. С.Пушкаревым обстоятельную историографию Русской Православной Церкви.

\* \* \*

Покупайте и выписывайте ежемесячный

ж у р н а л

"РУССКОЕ СЛОВО В КАНАДЕ"

Годовая плата: 6.00 долл., цена отдельного № — 50 ц.

Адрес редакции и администрации:

51 Riverdale Avenue, Toronto, Ontario, Canada. М4К-1С2

Журнал печатает художественную прозу, стихи, публицистические статьи, представляющие интерес для каждого русского читателя.

## О Т Р Е Д А К Ц И И

В предыдущих номерах "Современника" мы опубликовали "Историю Канады" М.Могилянского.

Интерес к ней со стороны читателей превзошел наши ожидания, и мы решили выпустить ее отдельной книгой. Необходимо упомянуть, что Канадское Федеральное Правительство помогло нам в издании книги дотацией на сумму в 3.500 долл.

"Историей Канады" заинтересовались не только читатели, но и профессора многих университетов, преподающие историю и литературу.

Профессор монреальского университета Р.Плетнев нам пишет:

"Чтение отдельных глав "Истории Канады" М.Могилянского доставляет большое удовольствие. Исключительно интересны те места, где автор проводит параллели с русской историей. Труд этот послужит пособием для всех, кто изучает или будет изучать историю Канады, включая и русских людей, живущих далеко за пределами этой страны."

Рукопись "Истории Канады" уже передана в набор, и мы надеемся вскоре выпустить ее в свет.

**ЭТО БУДЕТ ПЕРВАЯ В МИРЕ ИСТОРИЯ КАНАДЫ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!**

Мы обращаемся к Вам с предложением подписаться предварительно на эту книгу, т.к. это ускорит ее выпуск.

Цена книги – 10.00 долл., включая пересылку.

Для Вашего удобства прилагаем купон на подписку.

---

.....  
*(Имя, отчество и фамилия)*

.....  
*(Адрес)*

*Издательству "Современник", Торонто, Канада.*

*Прошу принять от меня подписку на.....экз. "Истории Канады" М.Могилянского. Чек/денежный перевод на.....долл. прилагаю.*

*Заказы и деньги просим слать по адресу:*

**Sovremennik Publishing Ass., 9 Garnet Ave., Toronto,  
Ontario, Canada. M6G - 1V6.**

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Памяти В. Л. Савина.....	1
Л. ФАБРИЦИУС. Зигзаг.....	3
Е. ИВАНОВА. Пойдешь налево.....	14
Ю. МАЛИНОВСКАЯ. Река улыбнулась.....	27
ЕВГ. ЗЕЛЕНСКИЙ. Человек в пальто.....	28
ИГОРЬ ЧИННОВ. Три стихотворения.....	32
Т. ПАХМУСС. Зинаида Гиппиус: О непримиримости, о коммуно – большевизме и его противниках.....	34
А. ГИДОНИ. Стихи.....	48
ОЛЬГА БИРИНЦЕВА. Стихотворение.....	53
А. ШОХИН. Дзэн–буддизм.....	54
З. ДУБНОВ. Иосиф Флавий. Стихотворение.....	59
П. БАЛАКШИН. Серебряный корабль (Н.Тэффи) и Гости нездешних вечеров (Марина Цветаева).....	60
К. ПЕСТРОВО. Письмо. Стихотворение.....	66
Э. БОБРОВА. Аркадий Викторович Белинков.....	67
ЕВГ. ЗЕЛЕНСКИЙ. Сонет.....	72
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА. Еще звенело.....	72
А. ГИДОНИ. Сквозь звенья цепи золотой.....	73
С. ВОЙЦЕХОВСКИЙ. Все мимолетней.....	78
Проф. ГЛЕБ ЖЕКУЛИН. "Бодался теленок с дубом" А. Солженицына.....	79
Н. БЕЛИНКОВА. Я – только свидетель.....	85

Э. БОБРОВА. Из поэмы "В лучах северного сияния".....	92
Г.А. ГИДОНИ—РУМЯНЦЕВА. Италия в жизни и творчестве А.К.Толстого.....	94
СТРАННИК. Три стихотворения.....	107
Ек. ТАУБЕР. Прилетают пчелки.....	108
Из архива ЛЕОНАРДА ГЕНДЛИНА (М.Зощенко и В.Шкловский).....	109
ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН. Трагедия магистра смеха.....	113
Штрихи к портрету.	
В. СУМБАТОВ. К цели. Стихотворение.....	125
М.МЮЛЛЕР—ГЕННИНГ. Игра с рифмой.....	126
Вс. ХОМИЦКИЙ. Русский театр Зарубежья.....	127

#### Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

*Элла Боброва. Григорий Свирский. Заложники. Александр Гидони. Дмитрий Кленовский. "Теплый вечер". Элла Боброва. Лидия Чуковская. Спуск под воду. Е. Таубер. Нонна Белавина. "Утверждение". Галица Гидони-Румянцева. Алла Кторова. Экспонат Молчаливый и другое. Элла Боброва. Виктор Морт. "Мера подлости". С.Л.В. Записки Русской Академической Группы в С.Ш.А., том 8-й.....* 135 – 146

Подписывайтесь на "С О В Р Е М Е Н Н И К" , независимый журнал

русской национальной мысли в Зарубежье.

\*\*\*

**Subscription price for institutions \$15.00 per year.**

**Individual subscription \$10.00 for 4 issues.**

**Senior citizens - 20% discount.**

**Single copy - \$2.50, (double issue - \$5.00).**

**Make cheques or money orders payable to**

**"Sovremennik" Publishing Ass'n, Inc.,**

**9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada M6G - 1V6**

**Издательство и Редакция :**

**Sovremennik Publishing Association Incorporated  
9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada M6G 1V6**